



Сергей Захаров

Запретный лес

Литература для взрослых

Сергей Захаров

**Запретный лес.
Литература для взрослых**

«Издательские решения»

Захаров С. В.

Запретный лес. Литература для взрослых /
С. В. Захаров — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-741855-7

«...И тогда, если повезет, если терпения достанет, ненависти и сил, проплутав неизвестно сколько в стылой и чужой, смертельно опасной влаге, грязный, изможденный, отчаявшийся и почти утративший веру, ты, наконец, выйдешь к нему, запретному лесу — выйдешь, чтобы новое обрести знание. Знание, которое сделает тебя другим, но жить оттого легче не станет — скорее, наоборот...» В книгу «Запретный лес» вошли как уже известные читателю тексты, так и целый ряд новинок, ранее нигде не публиковавшихся.

ISBN 978-5-44-741855-7

© Захаров С. В.
© Издательские решения

Содержание

Средний Восток	6
Пространство	11
По другую сторону окна	13
Примечания	24
Дорога за горизонт	25
Белый пух нашей Ядвиги	33
Америка находится здесь	37
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Запретный лес

Литература для взрослых

Сергей Валерьевич Захаров

© Сергей Валерьевич Захаров, 2017

ISBN 978-5-4474-1855-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Средний Восток

Я разучился спешить – в октябре простреленного года.

...младшие сестры наших друзей остаются надолго в тени. Более того – откровенно раздражают. Ябедничают родителям, не дают поболтать вволю о своем-нашем, мужском – вертятся перманентно перед глазами и встревая то и дело с идиотскими, не по существу, замечаниями. Такие они – младшие сестры наших друзей...

Ты уже бреешься, куришь, куришь весело, ходишь в ДК на дискотеку, участвуешь в драках «район на район», пробовал «Агдам» и познал женщину, девушку, женщину, пьяную бабу, пожилую ****ъ из соседнего дома и снова девушку, а они все еще носят банты, возятся со своими куклами и обмирают при голосе Юры Шатунова – младшие сестры наших друзей. Удивительно противные, случается, сестры. Как у Гришки – друга моего, правильного пацана из еврейской семьи. Правильного пацана – такое тоже бывает.

Ходила-была Ада, четыремья зимами младше нас – девочка злоязыкая, носатая, черненькая, с коленками острыми птичьих ног... С прозорливостью недетской замечала все наши потуги перепрыгнуть скорей во взрослую жизнь – и потуги эти выстригала под ноль.

Разрезая ехидным форштевнем воздух, врывалась в неприветное пространство – комната у Ады с Гришкой была одна на двоих, и половинное свое право она использовала охотно и сполна – выбирала мгновенно цель и била килотоннами сарказма ниже нашей новомужской ватерлинии. Ах ты, мелкая сучка!

На момент отъезда семьи их в Израиль такой мне Гришкина сестра и запомнилась – худющим, язвительным и, вообще, вредным редкостно существом.

Время, совершив пару ложных движений, выровнялось, определилось, возшло в янтарный вагон – и поехало на Средний Восток, громыхая на стыках взрослеющим басом.

Я заканчивал свои университеты. Гришка ничего не заканчивал – он адаптировался, ассимилировался, и вкалывал в Тель-Авиве таксистом. На одной из присланных им несколько лет спустя фотографий (друг возмужал, отпустил усы и приобрел законченный облик мелкого деляги, так свойственный его честнейшему и бестолковейшему, в силу этого качества, отцу, инженеру-химику) он стоял в обнимку с беспощадной красы брюнеткой, жгущей дотла зеленью глаз.

О, небо без явных границ! Моника Белуччи, случись ей тогда заглядывать мне через плечо, искусала бы патентованные губы на нет. Пенелопа Крус, ругнувшись сквозь белую кость, собрала чемодан и воротилась бы к Крузу. Но – вряд ли стал бы я о том сожалеть.

Снедаемый жесткой завистью, впивал я злополучное фото – ну, как такое вообще возможно!? Как можно, чтобы Гришка, низкорослый, аномально-брюхастый, с откровенно барыжьей своей физиономией – и выдрал из когтей ухватистых судьбы такую принцессу!? Где, скажите, справедливость!?

Я продолжал созерцать, ощущая недопонятое нечто, и – понял. Понял! Заземленный друг мой и межпланетного масштаба красавица явно носили одни гены – но в каких же взаимоисключающих интерпретациях! Подтверждение догадке я нашел на тыльной стороне глянца, где имела надпись: «Я с сестричкой Адкой. Алленби. Тель-Авив, 1999».

Вот, оказывается, как... Гадкий утенок уехал и приказал долго жить, непостижимым путем обратившись в сокровенное достояние нации. Я, за дальностью расстояний и отсутствием своевременной информации, проспал волшебство гормонального взрыва – а теперь должен был спешно наверстывать упущенное.

И я таки полыхал желанием – наверстать. Замудоханный долгим бездельем ангел любви проснулся по внезапному звонку и, почесывая в мышках и паху, принял эбонитовую

трубку. Гришка собирался прилететь в июле – и взять в качестве бесплатного приложения сестру.

...Впрочем, можно, можно было еще все поправить, исправить, не допустить. Остановить в точке, откуда возможен возврат, когда бы не две июльских недели, проведенных нами вместе – две недели, поменявшие всё. Нужные для того, чтобы понять и убедиться: если и создан кто-то для единственного другого – это как раз наш с Адой случай.

Препарировать блажной и алый туман, в просторечии именуемый любовью, я не стану. Скажу лишь одно: к завершению четырнадцати этих дней я четко знал, что, случись мне отвечать на вопрос «что же такое счастье?» – я нимало бы не задумался, а вывел Аду куда-то в центр, на свет и обозрение сколь угодно великой аудитории, и с убежденностью полной молвил:

– Вот оно, счастье! Какие могут быть сомнения? Целых пятьдесят восемь кило – счастья-то! И пусть попробует здесь кто-то возразить! – и таких, я уверен, не нашлось бы.

Две недели истекли, Ада улетела в Тель-Авив, за скобяной прилавок, я же – полноценным ходил дурачком, улыбаясь случайным собакам. Любовь наяривала марши. Волынки упоенно фальшивили Мендельсоном. Я готовился стать мужем и отцом – в октябре она должна была вернуться и сделаться мне женой.

Время же – монолитный блок на стабильных рельсах – вдруг трещиной пошло сверху донизу, ухнуло и распалось на две половины. И звались они – время-вместе и время-порознь. Причем, если первое исчезало влет – две совместных недели, по субъективным моим ощущениям, сопоставимы были с искрометным получасом – то второе, время-порознь, ползло ревматическим и престарелым, нороящим загнуться вот-вот удавом.

И тогда, по большому счету, впервые – я впал в агонию спешки.

Неумолимо медлительный временной ход раздражал меня самым серьезным образом. Ну, давай же, давай – какого черта ты еле дышишь! Я не хочу – порознь! Двигай, дергай, шевелись – сделай так, чтобы октябрь наступил быстрее!

Давай, давай, давай – я жил в сплетеньях оптоволокну, в кабине переговорного пункта, в предвкушении вскрытия очередного электрописьма... Жил ТОЙ и ТАМ, жил ТЕМ, чего, так или иначе, нужно было дожидаться, выждать, переждать – а время-удав подвигало едва тяжеленные свои кольца. Вот ползучая сволочь!

Все безнадежнее я выпадал из рутины дневного зла, и на одной из сентябрьских облавных охот едва не застрелил коллегу, сочтя его искомым кабаном – после чего выезды в лес, убоявшись, прекратил. Да что там... Я любил – любил свирепю, лихорадочно и нетерпеливо – и знал, что точно так же любит и она, Ада.

Лихорадочно... Нетерпеливо. Билеты для Ады и Гришки были забронированы на двенадцатое. Нетерпеливо... Лихорадочно... Так же, зараженная мною, торопила время и она, Ада. Ей зачем-то и вдруг непременно понадобилось успеть к четвертьвековому моему юбилею. К пятому дню октября. Просто успеть – ко мне. Ада тоже спешила – и потому в последний момент изменила планы и решила лететь раньше, одна. Рейсом №1976 по маршруту Тель-Авив – Город-Где-Мы-Будем-Счастливы. Она, как выяснилось позже, готовила мне сюрприз.

Вот, собственно, и все. Четвертого октября Ту-154, принадлежащий авиакомпании «Сибирь» вылетел из Бен-Гуриона – а примерно без четверти два пополудни искореженными фрагментами рухнул в Черное море, в двух сотнях километров к юго-западу от Сочи. Сбитый отклонившейся от учебной цели ракетой украинских ПВО. Выживших, понятно, не оказалось.

Такое бывает – и не надо делать из этого трагедию. Достаточно посмотреть вокруг – что-то подобное регулярно происходит во всем мире. От ошибок не застрахован никто. Как бы там ни было, мы с самого начала старались действовать максимально прозрачно. Это

слова не мои – президента Кучмы. Пусть и сказанные им несколько позже – когда уже нельзя было просто молчать и делать вид, что ничего из ряда вон не случилось.

Да я, надо сказать, и не собирался – делать трагедию. Всю полусознательную жизнь я откровенно ее не любил – трагедию. Тем паче, мелодраму. Так случилось, она полюбила меня – в простой и извращенной формах. Тогда, в силу скудости интеллекта, я не мог знать того, о чем давно и глобально ведал древний один англичанин: вся жизнь, в сущности – она и есть: мелодрама с урезанным безбожно бюджетом. Не хватаящая звезд мелодрама. Провальный концерт. Ты заказываешь музыку, ожидая сэра Пола Маккартни – а является багровоносый, вечно поддатый ханыга – учитель музыкальной школы по фамилии несерьезной – Петрушка, с сильно подержанным синтезатором «Ямаха» и группой подельников-лабухов. И вместо «Hope of Deliverance» приходится внимать упоительно-пошлomu *****ству кабацкого репертуара. А надежды – нет. Как нет и спасения.

– Вот, суки... – помнится, единственное, что смог я произнести, услышав невозможную весть. Остановите черную музыку, отмотайте пленку назад! Я ничего не слышал. Никто не звонил. Отмотайте пленку назад! Заберите меня отсюда – за месяц, день, час, полчаса, хотя бы пять минут ДО! Дайте, дайте мне, прошу вас – хотя бы пять минут ДО! Я привык ничего и никогда не просить – а теперь прошу. Прошу! Прошу на низайших коленях! Самую малость – пять безмятежных минут. Пять счастливых бесконечно минут – там, где все, как прежде. Телефон не звонил. Я не спешил, роняя пепел, из кухни – в надежде услышать самого дорогого мне человека. Никто не кричал и не плакал в трубку, Гришкиным голосом ругаясь вперемешку на русском и своем – и узнать ничего я не мог. Чай еще не остыл и ждет в деревянной кухне. Все, как и должно быть. Теплый октябрьский вечер, теплый октябрьский мир. Хотя что-то, хоть как-то, но дайте мне – пять невозможных минут, верните Землю на место! Только пять минут – я же не прошу больше! Ну, что же вы...

– Вот, суки... – сказал я тогда, только, чтобы сказать что-то. Кто они, эти «суки» – я не знал. Кто-то. Никто. Все и каждый. И главной, нечистой самой из сук был я сам. Сукой, которой нет и не будет прощения. За то, что родился в неправильный день. За то, что грешил и не был за грехи выездным – все тяготы перемещений-перелетов оставив Аде. За то, что ввел в организм ей чрезмерную дозу нетерпения-яда – дозу, оказавшуюся смертельной. Но она-то, она, черт побери! Неужели не могла она вылететь двенадцатого, как планировалось ранее!? Вылететь и долететь? Еще ребенком она поражала своей вредностью и своеобразием – такой, выходит, осталась и по сей день! Я зол был, как опытный черт – и злился теперь именно на нее, Адку. Все такая же вредина! Как можно всегда и всюду поступать по-своему! Как вздумается левой ноге и моче правого уха! А потом – я поостыл.

Поостыл и понял, что злиться на нее – глупо. Потому что я – был, как была подаренная ей немецкая зажигалка, которую я без конца открывал и закрывал, пытаюсь будто найти в равномерных этих щелчках несуществующее успокоение... – был-остался я, была зажигалка, кричали все так же за окном вечные дети, и кто-то не мог никак отключить сработавшую сигнализацию – сука, сволочь, гад, да выключи, заглуши, уничтожь ты эту дрянь, или я спущусь сейчас и раздолбаю твою тачку, нахрен!.. – все было-оставалось по-прежнему, и только ее, Ады – здесь уже не сыскать. И злиться на нее – глупо. Все глупо. Глупо и ни к чему. Ведь ничего нет. Нет, не было и не будет. Можно расслабиться. Выпить и закурить. И еще выпить. Напиться даже. И никуда не спешить, пытаюсь обмануть время. Потому что ни к чему хорошему это не приводит. Никогда не приводило – к чему-либо хорошему...

...У нее был грудной, с картавинкой малой, голос, а в словах, там и здесь, проскальзывал обретенный на растрелянной родине акцент. Там ракеты падали регулярно, порой совсем рядом, и сердце, сжавшись в тысячный раз, таким однажды навсегда и осталось: маленьким, злым и сильным – так рассказывала мне Адка. Совсем и не маленьким, возражал я – если нашлось в нем место для такого здорового обалдую, как я... От волос ее почему-то пахло

всегда чабрецом, а когда Адке случалось рассердиться, она морщила смешно нос и темнела, едва ли не в чернь, глазами. Мы и провели-то вместе – всего ничего. Четырнадцать дней. А рассчитывали – на сорок. Лет. Мне и вспомнить-то будет нечего – потом. Вот чего я опасался, но, как выяснилось, я не особенно и хотел – вспоминать.

Напротив даже – я забывал. Забывал планомерно и против воли. Память включила механизмы защиты, и я терял с обвальнoй быстротой. Забывал все, что у нас было – или, точнее, могло быть. Ведь ничего и не было. Не успело. Не случилось – что, вероятно, и к лучшему. Счастье лишь поманило точеной рукой – и тут же сделало ноги.

...Я вообще плохо помню то время. То безвременье – так будет вернее. Я что-то делал, куда-то ходил, разговаривал с кем-то – но жил откровенно мимо. В сторону, вкривь и вскользь.

Вскользь... Так скользя, я начинал временами верить, что все неподъемное уже изжито. Слабее делались ледяные и жаркие волны, топившие меня каждым утром – когда, проснувшись, присваивая в новый раз мир, несколько секунд я бывал почти светел – а после приходило осознание невозможного, забирало с собой и било плашмя о дно, чтобы долго еще, на откате – мордой по острым камням...

Но слабее, слабее – иногда почти хорошо. В формате серого кино проскакивали вдруг посторонние и приятные краски: хрустящая, новорожденная зелень огурца в черных руках старухи на центральном рынке; молочно-розовый детский писк из весенних колясок; одна из моих незамужних коллег – помню кровавый рот ее, кривоватый, очень тонкий и белый правый клык, который мне так хотелось потрогать языком; помню тревожные колени и хвост, который определенно ей пригодился бы, чтобы обозначить свои намерения максимально ясно...

Хотя куда уж яснее – лифт, ром, сломанная рейка дивана, слепые обоюдные пальцы, лиловое мягкое кружево, губы на ощупь и губы на вкус – а после стоп-кадр, мгновенная пауза, взрыв – и нет ничего. Фрагментами в Черное море – и все потому, что духи у коллеги – те самые, от великой одной и несчастной француженки. Те самые, что любила Адка.

И пойми ты это сразу – не пришлось бы человека обижать, не пришлось бы бормотать, извиняясь, невнятное – и снова в серый формат. Да, катился мой янтарный вагон, вот только рельсы были хрустальными и шли мы меж минных полей.

И еще – неосознанно и вряд ли понятно – я активно выжигал в себе Украину. Перестал есть национальный борщ и вареники – два любимейших мною блюда. Перестал бывать у дядьки Анатолия в Чернигове – невзирая на отличнейшую рыбалку, какой он до того угощал меня каждое лето. При звуках украинской мовы меня корбило и трясло. Даже Гоголь утратил бесценные россыпи мистического, полусумасшедшего своего очарования, а Тарас Бульба из былинного гиганта превратился в излишне грузного, страдающего одышкой старика со вздорным характером и врожденной замашкой мокрушника. Нетребко больше не пела. София не устремлялась ввысь.

Я знал, что это нехорошо, неверно, и Гоголь, по большому счету, вряд ли в чем-то повинен, как не виноваты борщ, вареники, галушки и князь Владимир над суровым и вечным Днепром – знал, но поделать с этим ничего не мог. Есть вещи, которые сильнее нас. И на Черное море я больше не ездил. Я выдавил его из себя, излил в никуда, предал анафеме и похерил так же, как и многое другое.

Природный инстинкт, убедившись в несостоятельности разума, взял меня на иждивение и помогал, как умел, примириться с новым беспорядком вещей. Я с упорством обреченности забывал.

Но одно проросло и осталось, запустив корни в клетку каждую угнетенного мозга: время должно жить шагом. На бегу ему нечем дышать.

Время живет только шагом. Я разучился спешить – в октябре простреленного года. И удачно, пусть с опозданием, начал взрослеть. Открыв глаза очередным хмурым утром (на море был полный штиль), изучив взметаемую слабым сквознячком паутину в ближнем углу потолка, я как-то сразу и вдруг осознал, что уже не бессмертен – а это самый верный признак выздоровления.

И поезд с янтарным вагоном прибыл-таки на Средний Восток. С неизжитым и новообретенным своим зверинцем я выгрузился на вечерний перрон – и перевел дух. Воздух был узнаваем.

Я улыбнулся, и вокзальная нищенка, углядев золотой зуб, истребовала – и тут же получила – с меня мзду. В сорока километрах к северу, посыпанные крупной морской солью, маячили трехтысячники гор. Ехать дальше было нельзя – да и некуда. Рельсы заканчивались здесь.

И теперь, спустя годы, я с полным основанием могу утверждать: вряд ли вообще кому-то захочется – уезжать отсюда. Люди здесь существуют бесконечно долго, побивая свои же рекорды, воздух тягуч и вкусен, а голуби, переходя дорогу, предпочтут скорее погибнуть под колесом, чем ускорить хоть на йоту шаг свой. Здесь не взрывают больше, и худшее, чего можно ждать – подожженный мусорный бак.

И, главное, здесь есть волынки. Волынки, фальшивящие Мендельсоном – но фальшь их снова приятна, как и всякому, кто готовится стать мужем и отцом.

Нет, Средний Восток – замечательное место. Исключительное. Уникальное. И стрелки, прилипшие к циферблату, всегда показывают нужное мне время – теплый октябрьский вечер, без пяти минут семь.

Пространство

...и давно пора бы понять: он – другой совершенно. Он сам по себе. Но всякий раз, когда их видели вдвоем, не избежать было обрядшего в предсказуемости своей вопроса: скажите – это не ваш отец? Как вы на него похожи!

...и сам он, неизменно отвечавший с пошловатым сарказмом, а то и злобой откровенной даже: больше всех об этом знает мама. Или: если верить паспортным данным и воспоминаниям родителей о стройотряде – да. Или: спросите у отца – он лучше помнит обстоятельства, при которых я был зачат. Ненавидевший себя за эту пошлость – но по-другому не умевший.

Нет его – сходства. Совокупный оптический обман – вот что это такое.

Сам он, встречавший зеркальную копию лишь в минуты бритья, по необходимости и без удовольствия, не видел никакой схожести.

...я ничуть на него не похож! Я – сам по себе. Мы разные. Раз-ны-е. Живем в двух отстоящих городах. Встречаемся недолгий раз в полгода. Он ушел из семьи пятнадцать лет назад и половину моей жизни прожил с другими людьми – а это не проходит бесследно. Я – ничуть на него не похож. Я – сам по себе!

Молодые мамыши, толстозадые и прекрасные, познавшие уже усладу материнства, но еще не горечь его, катают хором дремлющих младенцев – единственных, каких больше нет! Развращенная популярностью белка ест далеко не все, а эстетствует и избирает: еще бы, ведь родовое ее древо – в двух шагах от Петра и Павла, где ударит вот-вот перезвон, и начнется воскресная служба. Летят от реки первобытные, полные животной радости крики байдарочников и каноистов – он придет через пару минут.

И ходил отец совсем по-другому: стремительным, заостренно-опасным перемещением своим разрезал пространство надвое, и всякий раз казалось, что две разлученные половины, побыв секунды в неустойчивом выжидании, покачавшись вопросительно-обреченно – рухнут в звоне и грохоте ниц. Жилистый, подтянутый, пружинисто-резкий – заведенный на долгие века.

А сам он двигался уверенно-медленно и тяжеловато, как будто все еще носил на себе сто десять спортивных килограммов, каких в действительности давно уже не было. Сам он пошире был и повыше, но каждый раз, когда их с отцом видели вместе, приходилось с раздражающей неизбежностью слышать одно – как вы на него похожи!

...подарил дорогие часы и слушать не стал возражений. Ну, куда они мне, говорил он отцу – они же вносят диссонанс, непривычно таскать на руке целый автомобиль. Как-то не гармонирует, не вяжется, не стыкуется, нарушает имидж полуаскета, какой для меня что-то да значит – и заткнулся, и взял: потому что видел, как хочет того старик.

...тряпки носил самые модные и чересчур молодежные, считая себя непревзойденным сердцеедом и, по тому судя, что третья жена, розово-слащавая актриса драмтеатра с маленьким ненормально ртом (отец, смущаясь, показывал как-то фото) была почти втрое его моложе – имел для этого основания.

А он, сын, снисходительно-мудро, как старший, взирал на вечную эту готовность и перманентное раздевание глазами всех и всяких, попадающих в поле зрения женщин – как будто сам был другим. Но почему «как будто»? Он и был другим. И есть другой. Он – сам по себе.

...каждый раз перед тем, как приехать. Проявляя в общем-то не свойственную ему деликатность, звонил и спрашивал: ты один? Ничего, если я у тебя переночую? Хорошо, еду, жди. Что купить? Приезжал, оставляя внизу машину (каждый раз новую и всегда не ту, о какой мечтал), привозил пакеты с гурманской снедью (он любил поесть и делал это с наслаждением, погружаясь и не торопясь), и обязательно кофе из лучших. Наглотавшись

этого самого кофе, они всю ночь не могли уснуть и болтали, болтали, болтали, втискивая в несколько убегающих споро часов – полгода с той и другой стороны.

А потом ему нужно было спешить, непременно мчаться куда-то, решать вопросы сразу в тысяче мест, и они второпях расставались, скомканно и не докурив. И всякий раз складывалось впечатление, что отец сознательно чего-то недоговаривает: боится, не умеет или не считает нужным сказать, а сам он – недоспрашивал, недопытывал, недоузнавал, словно войти опасался в неизвестную реку, где его, может быть, не ждут – и относилось все на очередные полгода.

...а то и на год, как сейчас. В прошлый раз он сказал отцу: давай завтра, пап! Не то, чтобы это впервые. Но прежде подружка, или знакомая, или кто-то еще безболезненно, традиционно и быстро устранилась, а в тот раз он сказал: давай завтра, лады? Потому что коллег бывшая, не отвечавшая долго взаимностью, кровавым коготком холеного мизинца норвившая всякий раз отчеркнуть глухую грань между ними и вопиющую неуместность его притязаний, вдруг ответила – да так, что и сам он не рад был ответу.

Трое жарких, в липком поту, суток высасывала из него гормоны. Он познал по-настоящему впервые, каково это: быть обезумевшим и потрясенным кроликом в объятиях многомудрого, безжалостного, как судьба, удава – но терся и терся о влажную чешую, отменяя запланированные встречи и теряя безудержно вес.

А когда позвонил отец, он был не в силах, выжат и опустошен; коллега, хозяйски расшвыряв спелые прелести, выдремывала силы для девятого раунда, и он сказал отцу: давай завтра, пап! Как будто не знал, что никакого завтра не будет. Отец, вечно спешащий в тысячу мест – исчезал из города едва ли не скорей, чем успевал появиться. Ну и ладно. В другой раз. Ну и пусть. Ведь он сам по себе. Совершенно другой – а не копия.

Воскресно-верующие уходили за чугунную ограду, черный-оливковый батюшка мелькал сквозь узоры у представительского авто. Полные неистребимо-животной радости крики байдарочников и каноистов летели в вечернем воздухе.

Отцу пора бы уже появиться, разрезая хищно пространство древнего парка, руку пожать и сказать: пошли-ка перекусим где-нибудь поблизости! Я замотался совсем, не успеваю даже поесть. Новостей – тьма, нас ожидают очень интересные события. Кажется, скоро мы разбогатеет – будем ходить, руки в карманы, и поплевывать, и заниматься тем, что по вкусу. Надоела уже эта каторга. Я хочу пожить в свое удовольствие – я это, в конце концов, заслужил. Повалиться на всех пляжах мира, поглазеть на заморских див, оставить тыснонок пяток в Монте-Карло... Я по горло сыт этой каторгой – я, в конце концов, заслужил!

...но не шел и не шел; аллея хорошо просматривалась в оба конца: две церковные бабушки, спешащие, семена мелко, на службу, коляски и зады пухлые заслуженно гордых молодых мамаш, убежденный, с шеей худой, старик, в дорогой, но висящей на нем обреченно одежде, ступающий неуверенно по левому краю, знакомый неуловимо старик, старик...

...и замер, пристыл на литой скамье, а мысли, давясь и захлебываясь, бежали вбок куда-то и вниз: нет, нет, нет, погоди, постой, что же ты, сука, делаешь, не может этого быть, не верю, не верю, не верю, хорошо, мы похожи, я такой же как он, нас постоянно путают, потому что мы черт знает как похожи, подожди, я согласен, согласен на все, нельзя же так жестоко и сразу, какая же ты сука, время, леденящая, скользкая сука, я похож, я похож, я похож...

А старик, отменно седой, стоял уже рядом, и нужно было подняться и сказать сдержанно-радостно:

– Ну, вот и ты! Здравствуй, отец.

По другую сторону окна

...на Первом участке торфзавода, прошитом-пронизанном поперёк и вдоль прочнейшими нитями «блатной» романтики – с дёргаными, нервы крутящим в жгут, фартом; деньгами скорыми и, как следствие, краткими; беспощадной кровью и роскошной, из копеечной лавки, бижутерией – теми самыми нитями, уныло-губительный цвет которых открывается далеко не сразу – и много позже, чем надо бы. Или не открывается вовсе.

И посейчас думается, что многие друзья-товарищи ушедшего отца ворвались однажды, да так и застряли там, в вечных двадцати: с деревянной танцплощадкой под ивами у пруда – ни одни танцы не обходились без мордобоя и редкая неделя не знаменовалась поножовщиной... С нестройно-дружными песнями под «Агдам» и две гитары в яблонево-вечерних садах; с первыми сроками, за какими грядут неизбежно вторые и третьи – чуть ли не в каждой семье непременно кто-то сидел, готовился сесть или только что освободился... С понимаемой по-своему, бескомпромиссной и безжалостной справедливостью и упорным нежеланием сделаться частью обывательски-нормального социума... С непотопляемой, как ты ее не тычь башкой под воду, упрямо-бессмертной верой в лучшую жизнь и за горизонт уходящие поля нетронутой земляники...

Да, да, именно так. Люди эти – прежние друзья отца – категорически не желали взрослеть и расставаться с иллюзиями юности, и даже годы спустя наиболее упрямые, обратившись в ООР*, поднаторев и ожесточившись в ограниченном не ими пространстве, заимев туберкулез и бывая дома лишь в кратких перерывах между отсидками – сохраняли на жестких, изломанных лицах неизжитой, свойственный лишь начинающим людям отсвет бесшабашной и слепой веры, какой так трудно сыскать на правильной и скучной, как стиральная доска, физиономии «настоящего» взрослого...

Не оттого ли и позже, когда семья их получила, наконец, квартиру на Третьем, где имелись все зачатки убогой, но цивилизации: школа, детсад, два магазина, поликлиника и больница, клуб, заводоуправление и сельсовет – не оттого ли и потом его так тянуло на этот самый Первый, хотя, чтобы добраться до него, приходилось топать пять, без малого, километров вдоль узкоколейной насыпи, либо столько же – по гравийке, режущей край матёрого, мрачного ельника.

Да он и не отказывался, и желал, напротив – топать, потому как все, все они обретались там, в трех десятках почерневших от времени и стихий одноэтажных бараков:

...знаменитый Вася-Тунгус, счастливый обладатель вишневой «Явы» – пучеглазый приземистый крепыш с пуленепробиваемым лбом, как-то в одиночку одолевший в кулачном бою двенадцать молодых мужиков из вражьей Подсемёновки – он и больше бы сложил в штабеля, когда б вороги на том не иссякли...

...Сашка-Доцент, кудрявый, в отличие от киношного своего прототипа, но не менее напористый и авторитарный, до тридцати успевший трижды отсидеть и дважды объехать в погоне за долгим рублем едва ли не весь Союз, включая Карелию, Сибирь и Дальний Восток – завзятый матерщинник и грубиян, трепетный поклонник Владимира Семеновича и отец троих детей от такого же количества жен...

...Доллар, настоящего имени какого в анналах не сохранилось – итальянской волосатости, смуглявый и пьяный пожизненно симпатяга, ведавший складом ГСМ и с конца восьмидесятых заимевший устойчивую привычку везде и всюду, даже с самогонщицами, расплачиваться не иначе, как американской твердой валютой...

...Толик-Длинный – разболтанно-ленивой грацией, усыпляющей флегмой движений двухметрового своего тела походивший на сетчатого питона – и не менее, чем питон, опасный в ситуациях форсмажора, когда твоя, да и не только, жизнь стоит на кону и зависит

лишь от умения угадать момент да ударить первым – здесь Толик молниеносен был, опытен и надёжен, за что имел вес немалый в соответствующих кругах и неизбывные проблемы с законом...

...и, конечно же, Вадя. Вадя! Живая легенда Первого участка, гениальный технарь-самоучка, обладавший волшебным умением реанимировать любой не подлежащий восстановлению технический хлам – будь то бобинный магнитофон, телевизор, пылесос или военный ГАЗ-66...

Вадя, посредством двух мощных, широких в кости рук вкупе с минимальным количеством инструмента способный сотворить самые нерукотворные чудеса – от мотоцикла оригинальной конструкции до надежнейших ножей-выкидух, какие он сочинял мигом и походя, из чистой любви к искусству, взимая за то символическую плату самогоном в количестве ноль-пять...

Вадя, скроенный атлетом, отслуживший, как и положено, в ВДВ, но не где-нибудь, а «за рекой», и вернувшийся из Афгана с медалью и группой инвалидности по психическому здоровью...

Вадя, имевший в абсолютно незаконном распоряжении массу самых притягательных для всякого нормального пацана вещей огнестрельного и холодного толка – от сапёрного тесака самодержавных времен до ПТР последней Мировой и АКМС-74 – и хранивший их в самолично вырытом, оборудованном по всем правилам науки и надежно сокрытом минибункере, вход куда позволялся лишь самым надежным и проверенным из друзей. И он, четырнадцатилетний пацан – горд без меры был оказаться в избранном их числе.

Вадя – человек, почти занявший в сердце его нишу, предназначенную для отца – после того, как сам отец сменил нежданно семью и прописку, не утруждая себя какими-либо объяснениями. А чем видится такое в четырнадцать лет – кроме как не предательством? Не должны они, главные ниши, пустовать – оттого и тянуло-звало необоримо на Первый, оттого...

* * *

...и теперь, помещённый в июньский, тридцатиградусной жары, пейзаж, шагал он в рабочий посёлок, подсчитывая машинально тела спящих обочь дороги работяг: в пятницу мужики начинали квасить с самого утра и к обеду едва уже шевелились – что уж тут говорить о пути вечером домой, перемежаемом то и дело дозাপравочными алкогольными паузами?

И люди шли, атакуемые спиртовым и температурным градусами, люди боролись, пока доставало сил, а после, сломленные, выбывали из рядов, падали в щекочущий шорох травы и похмельный мучительный сон, успев напоследок сообразить, что на произвол судьбы их не оставят: раньше ли, позже, явятся замотанные жены, отыщут ненавистно-родные тела, установят вертикально и препроводят, где пинками, где крепким словом, к аскетичным пенатам...

Мужики, отключившись вглухую, храпели, а он шагал – второй уже раз за день. Первый был в полдень.

...Тогда, днем, Вадя, в застиранном до блеклости невозможной, штопанном тысячекратно тельнике сидел на лавочке у забора – черно-лаковые, до плеч, волосы, лицо Чингачука, мускулы Гойко Митича – и колулся в нутре ошетиленной проводами железяки. Пацан поздоровался за руку – еще одна дарованная ему привилегия – и сел рядом.

– Когда на работу? – спросил он.

– Завтра надо было, да я отгул взял, – Вадя вкалывал на вредном производстве, по графику «сутки через трое», в полусотне километров отсюда. Платили там, в ракурсе общеперестроечной нищеты, по-царски.

Пожилая коза Вероника – поименованная в честь Вероники Кастро – подбежала и ткнулась несильно в колени. Пацан, прихватив животину за рога, поборолся слегка, шлепнул по теплему боку.

– Наблюдал когда-нибудь такое? – Вадя потянул из пачки штук шесть сигарет «Космоса», сунул Веронике в морду – та слизала вмиг и благодарно заблеяла.

– Ни фиги себе! Я знал, вообще-то, и раньше, но чтобы с фильтром!.. – он улыбался, а Вадя, без всякого перехода, добавил:

– Нина Фёдоровна померла ночью. Мамка моя. Такие дела...

– Да ну!?

– Гну! Иди посмотри, дурачок!

Он поднялся на две ступени, вошел в забитый под завязку техническим утилем коридор, потянул на себя тугую разбухшую дверь и замер: бесформенное, страшное в своей голоستي мертвое мясо старухи лежало на столе в самом центре комнаты. Воздух был сладок, тягуч и плотен. Три товарки её – живые – споро протирали дряблую белизну тряпицами и, обернувшись на дверной скрип, погнались его взмахами рук прочь.

– Как же так, Вадя? – спросил он, оказавшись снова на улице. – Ведь позавчера еще, помнишь, ругалась, Доцента палкой лупила, да и всем тогда перепало...

– А вот так! Чего ты хотел? Ей в апреле восемьдесят шесть было. Понял? Она меня поздно родила. Мы с тобой, после Чернобыля, столько хрен протянем. Даже и не надейся! Вчера, позавчера, завтра... Все подохнем – придёт время... И ты, и я, и Доллар, и Тунгус... А сейчас вот Нина Федоровна, Эн Эф моя крякнула. Пожила уже, хватит с нее! Вредная в последнее время была, сам знаешь... Да оно и понятно. Жить хочется, а жить – нечем. Организм свое отработал. Померла и померла – хрен ли тут говорить? Ничего, привыкнешь! Хоронить надо скорее – жара. И так уже в хате дышать нельзя. До завтра полежит, а там свезем-закопаем. Ну, чё ты пасть раззявил? Чё ты скулишь?! – выскрикнул неожиданно он. – Я у нее всю жизнь допроситься не мог, кто мой батька! Гуляла, как неменяемая – как тут узнаешь? ****овала на всю катушку – молодая, красивая, как же... А меня Амуром до тех пор, суки, дразнили, пока в силу не вошел да морды за то чистить не начал. Амур, ****, дитя любви!..

Он, взорвавшись и отгремев, продолжал много спокойнее – но пацан перестал вдруг что-либо понимать: как будто прежние вращались шестерни, а вот сцепление между зубцами исчезло. В один не уловленный миг.

...То самое, уже знакомое ему ощущение нереальности происходящего дохнуло пьяняще-жарко, обволокло и не отступало. Он повел искоса глазом на Вадю – так и есть! Оно самое! «Беседы с духами» – так зовёт это Сашка-Доцент. Мистика, тайна, загадка... То, за что Вадя и получил свою «группу» – зрачки его утерали фокус, а речь медленной сделалась, почти неразборчивой и бессвязной, как будто кто-то ДРУГОЙ, до поры сокрытый в неизведанной глубине, выявился разом и сменил друга, вещая из его оболочки. И это острое, чуть пугающее и расслабляющее одновременно, как гипноз, чувство – сродни бесконечно далеким проблескам-вспышкам звезд в туманном осеннем сумраке... Кто-то нездешний беседовал на незнакомом языке, но если поднапрячься, как следует, то можно, можно – понять, думалось ему. Чуть-чуть дотянуться, допрыгнуть, заглянуть – и постичь её, извращенную логику безумия. Или, напротив, единственно верную логику. И он, бездвижный, вслушивался до боли в голову с петель рвущий бред, пытаясь вычленивать вспыхивающий кратко и гаснущий тут же смысл, он слушал, вслушивался, вникал —

а потом всё завершилось. Так же мгновенно, как и началось. Голова встала на место. Снова он понимал Вадину речь – но дивился уже другому: недобрым, непонятно-недобрым её интонациям.

– ...вот так, малой! Ладно, ты иди. Мне тут с гробом, машиной, да и всем остальным решать надо. Завтра приходи к двенадцати – на кладбище повезём. Давай, малой, не до тебя сейчас!

– Ты как вообще, Вадя? Ты в порядке? – он всё тянул, медлил и медлил, не решаясь отчего-то уйти, и – нарвался.

– Да ты достал, слушай! Нормально, малой! Нор-маль-но! Только так! – Вадя уже не улыбался, более того: впервые пацан видел его, обычно невозмутимого, в открыто читаемой неприязни и злобе. – Сказал же – всё хорошо! Хули ты доебался!? Всё пучком. Давай, малой – двигай! Некогда мне!

Вот тогда он и ушел. Обиделся до самого нутра, до серёдки костного мозга – и ушел. «Двигай давай, не до тебя сейчас!» Вот дела! Как будто он напрашивается! Сами же и приняли в свою компанию, дозволив бывать беспрепятственно на всех их сборищах-пьянках-беседах, а теперь – пожалуйста: «не до тебя!» Да от кого услышать – от Вади, которого он почти боготворил! И на тебе – «некогда, не до тебя, достал!» А он здесь разогнался было со своими утешениями! На, получи! И правильно – не лезь, куда не просят! Только-только начал он ощущать себя взрослым и чего-то стоящим – еще бы, вращаясь среди самых отчаянных сорвиголов Первого! – как Вадя, на какого он едва не молился, играючи, мимоходом, стащил его за ноги с небес и брякнул о вчерашнюю землю. Показал ему, кто он есть. А кто он есть? Да никто! Никто, и звать его – никак! Мелочь, сопляк, ребенок. Молокосос. Щенок. Но Вадя-то, Вадя... Да, он воевал, у него, после Афгана, проблемы с головой – но орать-то зачем? Зачем орать? Постой-ка – сказал он себе. У него, вообще-то, мать померла. Нина Федоровна. Эн Эф. Ты можешь представить себе, как это – умерла мать? Можешь? Нет! Не могу. Не стану даже и пытаться. Потому что этого просто не может быть. Это невозможно. Моя мать никогда не умрёт. А вот Вадина – померла.

Он стал думать о Нине Федоровне, какую и не помнил иной, кроме как согнутой под прямым углом, крючконосой и грузной старухой в засаленной, повязанной на пиратский манер косынке, из какой выбивались там и здесь грязно-серые космы. Когда они собирались у Вади, чтобы скоротать зимний вечерок за приятной беседой под самогон, бражку или винцо – Эн Эф провожала последний покой. Выходила из себя и материлась изощренно беззубым ртом, на метры выбрызгивая яд слюны.

...На него-то, положим, она никогда не сердилась. Ему не наливали, да и сам он, честно сказать, не стремился. А вот Сашку-Доцента, Толика-Длинного, Васю-Тунгуса или Доллара – Эн Эф откровенно ненавидела. Когда эмоции спорщиков восходили на пик, и закладывало от децибел уши – один Доцент нецензурным рокотом своим мог бы запросто перешуметь самолетную турбину – Эн Эф, стуча азартно в пол клюкой, выбиралась из своей клетки – голова на уровне разбитого таза, палец левой руки выцеливает хищно-голодно объект атаки – и принималась громить. Многим ругательствам он обучился именно от Эн Эф. Иногда в кармане растянутой, метущей пол кофты у нее обнаруживалась свернутая в трубку двухкопеечная тетрадь и обломок карандаша – каковые вручались тут же ему.

– Пиши, Серёжа, пиши, пиши – шепелявила-шипела она. – Считай их, сук, считай и записывай! Завтра придет участковый – пусть разбирается! Всех в ЛТП сдам, сволочей! Поспать, ****и, порядочной женщине не дадут!

Для вида он что-то черкал, пряча улыбку – Эн Эф слишком была стара, чтобы хоть малость кого-то напугать, сама о том знала – и лютовала оттого ещё горше. С Вадей они ладили не более, чем браконьер с рыбнадзором, организуя то и дело редкие по эмоциональной глубине и насыщенности перепалки.

Да, только такой он Эн Эф и представлял – и потому для него откровением стали Вадины слова о том, что когда-то и она была «молодой и красивой». Он не умел еще верить, что все старики были когда-то молоды – как не верил и в собственную старость.

Вадя, впрочем, и еще много чего о ней говорил – но уже нехорошего. Совсем нехорошего. Хотя о мертвых, знал он – не принято говорить плохо. Тем более, о своей матери. А Вадя – говорил. Хрен их поймёшь, этих взрослых! Хотя, если разобраться – чего тут непонятного? Больше он туда не пойдёт. Не пойдёт, и всё! Большой, маленький, но когда гонят тебя, как прибудившегося случайно, по первости обласканного, но наскучившего быстро щенка – тоже ведь не станешь терпеть. Маленький ты или большой. Тем более, от кого – от Вади! Да он и не собирается – терпеть. Всё! Кончено! На Первый я больше никогда не пойду!

* * *

И всё-таки он туда пошёл. Вечером того же дня. Перед тем маялся в прохладе бордовой комнаты, читать пробовал, включал телевизор, подумывал было собрать пацанов да мяч попинать на школьном стадионе – и вынужден был признать, наконец: что-то здесь не так! Не так, как должно быть. Что-то... Всё, если разобраться не так! А что – всё? Я не знаю – сказал себе он. Просто я – должен. Есть такое, не из любимых, слово. Но я должен туда пойти. На Первый. К Ваде. По-другому – нельзя. Не знаю, почему и зачем, и как уживается это «должен» с дневной обидой – разбираться будем потом.

...Проходя мимо второго от дороги барака, он видел, что перекошенная, крытая кубовой краской дверь Сашки-Доцента распахнута настежь – и повернул туда.

Доцент, Доллар и Тунгус отдыхали на кривых табуретках в кухне, созерцая угрюмо работу грамотно построенного самогонного аппарата. Рюмахи для дегустации первача, как мог судить он, были налиты и опорожнены уже не раз. Суровые груди плакатной Саманты Фокс будоражили и обещали с деревянной стены. Двухкассетный «Шарп», привезенный Сашкой из Владика, целовал в душу «Банькой по-белому».

– Ну, что нового? Как там Вадя? – спросил, едва поздоровавшись, он.

– Вадя... Вадя... Вадя... Да на хую я видал твоего Вадю! Всё! Как отрезало! Будешь? Семьдесят пять верных, только что новым спиртометром мерили! Вадя... Сссука! Давай, Серрррёга! – Доцент, дёрнув шеей, выскалив жёлтый клык, потянулся было налить; пацан отодвинул рюмку.

– Да не люблю я! Знаешь же, не люблю, – сказал он. – Расскажи лучше, Доцент, чё было-то. Доллар, чё было? Тунгус – да что тут у вас стряслось!?

Ему и рассказали.

До поры подвигалось всё гладко – чин чинарём. На проржавевшей «Ниссе» Доллара они слетали в Город за венками, продуктами и магазинной водкой, завернули на обратном пути на пилораму Завода, забрать кумачовый гроб – и воротились к четырем пополудни домой. Вадя был задумчив, хмур и немногословен – как и положено скорбящему сыну. Правда, пару раз за поездку он порывался-таки «беседовать с духами» – но кратко и нетревозно.

Эн Эф, омытую, облаченную в последнее-новое, уложили в домовину, лицом к востоку. Колебался свечной огонёк, и лампада сияла неугасимо. Траурные старухи неотступно находились у гроба, дабы обеспечить умершей надлежащее сопровождение. Старухи читали псалмы и плакали, плакали и пели псалмы – и Вадя затосковал. Он выходил из комнаты в кухню, и возвращался в комнату, и бывал не раз в закутке матери, обнаженном смертью и жалком в новой своей пустоте – а потом он исчез.

Исчез, чтобы явиться часом позже. Где ходил он и чем занимался – о том неведомо, но за шестьдесят неизвестных минут «духи», похоже, завладели им окончательно. Вежливо, но непреклонно Вадя просил всех присутствующих покинуть помещение. Слова его затерялись в общем сдержанно-оживлённом шуме. Тогда он извлёк обрез, выстрелил в потолок и, пользуясь рухнувшей тишиной, повторил:

– Убедительно прошу всех съебать в течение одной минуты! Матка** – МОЯ. Моя! Сами, без чужих с ней разберёмся! А кто ко мне рыло сунет – убью! – и, для верности, шмальнул в квартирное небо ещё.

На этот раз призыв его был услышан. Осыпанные побелкой старухи, ввинчивая укоризненные пальцы в седые виски, без малых проволочек удалились. Вадя долго гремел засовами, после закрыл и завесил наглухо желтыми шторами все, кроме одного, окна – и затих.

...Выправлять ситуацию и вправлять Ваде мозги отправились Сашка-Доцент и Доллар. Доцент стоял ближе к двери – и видел, как затёрханный дерматин взорвался изнутри ватой. В сантиметрах считанных от его головы. Стреляли, судя по звуку, из обрезка мосинской трёхлинейки. Стань Доцент на полшага левее – и Первый заимел бы ещё одного небожителя. В доме Вадином можно было сыскать всё, что угодно – только не холостые патроны. Очень аккуратно Сашка и Доллар сошли с крыльца и подались восвояси.

Стрельба, в общем-то, была для Первого делом заурядным – но за Вадей такого ранее не наблюдалось: только что он действительно едва не положил одного из своих друзей.

Прибывший с работы Тунгус – человек воистину бесстрашный – предпринял еще одну попытку вернуть Вадю на путь разума, порешив проникнуть в дом его сквозь единственное незакрытое окно – и тоже был едва не застрелен. Переплёт рамы, за какой держался он, дёрнулся в руках, как живой, а длинной, оторванной на выходе щепкой ему расцарапало череп до крови.

Тунгус молча повернулся и был таков. Отойдя на безопасное расстояние, он опустился прямо на землю, там, где стоял, и курил, вставляя в пляшущие пальцы одну «примину» за другой. Опомнился он, лишь когда пачка перестала выдавать сигареты. Он по-крупному любил жизнь, Васька-Тунгус – и не испытывал ни малейшего желания с ней расстаться.

Все и всякие попытки после того были, за безнадёжностью, оставлены. Вадя творил чёрное, преступая последние грани. Оттого и взгляды с прищуром неласковым, и желваков свирепый ход... Оттого и первач стахановскими темпами – бальзамом на свежие язвы душ.

Пацан слушал и, слушая, цепенел.

– А что он сейчас? Успокоился – или чудит ещё? – спросил, чуть помолчав, он.

– А похуй мне, что он сейчас! – просто отвечал Сашка. – Я этого прикурка больного в упор не вижу! Он нас чуть не пострелял к ****ой матери – друг, называется, ****ь! И у меня за него голова болеть должна?! Ни хрена ты не угадал!

– Надо бы пойти посмотреть, – сказал пацан.

– Ага, сходи-сходи. Только что мы потом матке твоей скажем? Когда Вадя наш ненаглядный маслину тебе в башку загонит? А он загонит – к гадалке не ходи. Ты не видишь, что ли – совсем у него крыша поехала. Начисто! «Духи» одолели наглушняк.

– Ничего с ним не случится, малой, – сказал Тунгус. – А ходить не надо. Ему сегодня – ни до кого. Ему с маткой надо – довыяснить, разобраться, договорить. А ходить – не ходи. Никто тебя туда и не пустит. Никто из нас. Он не в себе сейчас. Чуть не натворил тут хрен знает чего – и неизвестно, что дальше будет. Всякое может случиться... Не ходи! Завтра посмотрим, что и как.

– Ну, нет, так нет, – сказал пацан. – Делов-то... Я и не собирался, в общем. Если так, то конечно... Ладно, вы отдыхайте – я домой тогда. Темнеет уже – а я обещал матушке пораньше придти.

Он поручкался и, выйдя за ограду, зашагал в сторону Третьего.

* * *

Добравшись до леса – так, чтобы его не могли видеть со стороны поселка – пацан тут же свернул с дороги и зашуршал низкорослым малинником, огибая Первый полукругом и стараясь подгадать так, чтобы выйти с противоположной его стороны, аккурат к Вадиному барaku.

...Стану я вас слушать, как же – говорил себе, в такт шагам, он. Сам как-нибудь разберусь: куда мне ходить или не ходить. Мне уже четырнадцать, да какое там – пятнадцать! Через три месяца стукнет пятнадцать. Взрослый, можно сказать, человек. Они пусть говорят себе, что хотят – а я сам решу, что мне делать. Я знаю, еще днём знал, что Ваде сейчас – плохо. Так плохо, как редко, совсем редко бывает в жизни. Тогда, днём, я попытался на секунду представить, что это: когда у тебя умирает мать. Просто вообразить на мгновение – и то не смог. Потому что о таком даже думать нельзя. Такого не может быть. Моя мать никогда не умрет. А Вадина – померла. Тут и самый здоровый человек свихнуться может – что уж про Вадю, с его Афганом, говорить?

Конечно, они жутко ругались. Всегда, сколько я помню, Эн Эф и Вадя грызлись не на жизнь, а на смерть. Пока она и не пожаловала – эта смерть. Главное удовольствие любой ссоры – в примирении. Я сам проходил через это много раз. Только вот помириться с матерью Вадя так и не успел. Обман, кидалово – вот как это называется. Явилась беззубая гадина и отняла у них всякую возможность – примириться. Кидалово и есть. От какого взвоешь, или из обреза лупить начнешь куда угодно и в кого угодно – вообще в белый свет, допускающий такую несправедливость. Потому что ты откладываешь и откладываешь, носишь в себе тлеющий угрюмо костерок обиды, подпитываешься сомнительным его теплом – а потом вдруг оказывается поздно. Срок годности истёк. И единственное, что тебе остаётся – разлагающаяся обвальными темпами чужая плоть, и говорить, объяснять, жаловаться, доказывать и просить прощения – ты можешь лишь в одностороннем порядке, деля безверие с надеждой, что тебя всё же услышат – ТАМ. Услышат и, может статься, поймут. И, если совсем уж повезёт – простят даже. И потому нужно это – сосредоточиться, углубиться, войти и остаться – наедине. Наедине с той, для кого ты так и не смог, не успел найти правильных слов при жизни. И пробовать найти их сейчас.

...Когда он вышел к барaku девятнадцать, сумерки сделались гуще. Все двенадцать окон, глядящие на лес, были мертвы. Квартиры под номерами один и два с год уже стояли заколоченными, в третьей доживала полубезумная бабушка Сербиянка, ходившая в лохмотьях, говорившая на собачьем языке и электричество зажигавшая только по праздникам, а четвертая – Вадина. И такая же неживая, без света внутри. Все три его окна. Подойдя ближе, он видел, что одно из них, среднее, действительно полуоткрыто. Помедлив самую малость у багровой калитки, он, привстав на цыпочки, сунул через верх руку, поднял крюк и вошёл в невеликий, с кривой грушей, дворик.

В дверь стучать он не решился – напуганный донельзя рассказом недавним Доцента. Постоял на крыльце, ковырнул пальцем выходное отверстие – и не решился. Это я себе пытаюсь доказать – что не очень-то и боюсь. А на деле – обоссаться готов со страха. Но раз я здесь оказался, – сказал он себе, – значит, по-другому было нельзя. Значит, я ДОЛЖЕН здесь находиться. Я многое уже понимаю – и не стану ему мешать. Просто побуду рядом. Посижу тихонько: как раз под средним, полуотворённым, окном есть узкая, на кирпичи положенная доска...

Он аккуратно, стараясь не шуметь, сел, откинулся, ощутив лопатками еще теплое дерево стены – и стал внимательно слушать.

...Как будто было там – что слушать. Кроме, разумеется, тишины. Какое-то он время он пытался представить себе, что происходит там, за стеной – в жаркой, напитанной трупной вонью и болью живого темноте. Там, где Вадя, возможно, давно уже высказал Эн Эф всё, что намеревался. А ответа, понятно, не получил. И тащит её на себе – всю тяжесть безответного одиночества. Неподъёмную, может быть, тяжесть. Вот потому он и здесь – на случай, если тонны её совсем уж придавят друга – ни выдохнуть, ни вдохнуть. Не хотел бы он сейчас оказаться на месте Вади – это точно! Да и на своём теперешнем – тоже не верх мечтаний. Трупов, если начистоту, он изрядно побаивается. Как и живых – а точнее, живого.

Кто знает, не пристрелит ли его Вадя нараз, едва обнаружив? Как чуть не угробил совсем недавно Тунгуса и Сашку, корешков своих с самых молодых соплей... Тогда что ты здесь делаешь? – спросил он себя. Что ты забыл здесь, где так неуютно, тоскливо и тяжело? Где от самого воздуха глубинной разит болью, близкой, дыханием в затылок, опасностью? Этого я не знаю. Но твёрдо уверен: иначе – нельзя.

...Где-то далеко, на другом конце посёлка, заорали пьяную песню, подхваченную тут же собаками – и, не доорав, бросили. Когда отзвенели цепи и замолчали дворовые псы, тишину возвратив на место – страх сделался невыносимым.

...А что, если Вади никакого и нет – там, в душно-сладкой комнате? Нет, и всё? Если не дозволялся он в сбивчивых монологах, не достучался, не достиг, не объяснил – и, понукаемый чёрными «духами», сунул повинную голову в петлю? Такое бывает сплошь и рядом – разве нет? А он сидит здесь, как идиот, и пытается кого-то услышать там, где звучать – некому. А вдруг так и есть? Вот, чёрт! Подстёгнутый новым кошмаром, он решил-таки заговорить вслух.

– Вадя, ты меня и не слышишь, я думаю, – начал вполголоса он. – Просто устал и лёг спать. Выпил и лёг спать. Или трудно тебе сейчас разговаривать. Ты не думай, я тебе надо-едасть не собираюсь. Ни отвлекать, ни мешать не буду. Так, посижу тихонько рядом... Просто хочу, чтобы ты знал, на всякий случай – что я здесь. Может, тебе потом, позже, захочется поговорить. Когда одиноко станет совсем. Так одиноко, что дальше некуда. Знаешь, я что скажу... Вы с Эн Эф, конечно ругались, кто спорит... Дико ругались. Но я, бывало, приду, а ты на работе – так вот: она о тебе только хорошее рассказывала. Правда. Вадик – добрый, говорит, сын: и заботливый, и хозяйственный, и деньги в дом несёт – только вот не женится никак, а всё перекаати-поле, всё в компании со злыднями этими: с Сашкой, да Тунгусом, да Долларом... А так – только хорошее о тебе говорила. Я подумал – тебе, может, важно знать это. Конечно, важно. Ещё как важно! Я многое уже понимаю, хоть и мелкий пока... Вадя! Ты слышишь меня, Вадя? Ты бы стукнул чем, или кашлянул хотя бы – больше и не надо ничего. Вадя!

С той стороны молчали. Беспросветно и мёртво молчали.

Вот именно – мёртво. Пацан дёрнулся даже от заолодлившей мысли, а нога правая задрожала крупно и часто – как случалось с ней в серьёзные моменты всегда. Он обхватил её двумя руками, сжимал и придавливал, добавляя вес тела, к земле, будто боролся с отдельным, чуждым, глубоко враждебным ему существом – нога и не думала униматься. Тогда, впервые за вечер, он по-настоящему разозлился – на себя, на ногу, на Вадю, на всю дурацкую эту ситуацию, в какой оказался – и, озлившись, продолжал говорить, теперь уже вдвое громче.

– Значит, ты спишь... И хорошо, раз так. У тебя трудный день был, и завтра – не легче. Это хорошо даже – если спишь. А если нет? Что мне тогда думать? Может, тебе плохо там, помощь нужна какая-нибудь – а я сижу тут и болтаю зря, вместо того, чтобы что-то делать. Конечно, что-то там не так – иначе ты давно бы меня услышал. Услышал и ответил бы что-нибудь. А ты – молчишь. Ладно... Чего я здесь гадаю? Вот сейчас посижу минутку-другую, покурю – и полезу в окно! Слышишь, Вадя? И ругайся ты, не ругайся, хоть в морду мне дай, хоть застрели, нахрен – а я вот покурю сейчас и полезу в окно. И пофиг, что ты мне сделаешь!

С той стороны давили тишиной. Нога словно взбесилась. Пацан закурил – пристрастил он совсем недавно и ещё ощутимо балдел от каждой приличной затяжки.

...Да – сказал он себе – сидеть и ждать у моря погоды я больше не собираюсь. Это хуже всего – сидеть и ждать. Я рехнусь тогда – это точно. Лучше уж так: собраться с силами, решиться – и сделать. Ррраз – и готово! И все дела. Проблема в том, что я не могу даже предположить, кто находится там, кроме мёртвой Эн Эф. Тот Вадя, который почти успел оккупировать в моём сердце место отца? Да, да, оккупировать место отца – именно так и есть. Да и как иначе – если сам старик с полгода назад, не утруждая себя объяснениями, взял да

ушёл жить к какой-то кикиморе, в Город? «Кикимора» – словечко матери. Сам он ни разу женщину эту не видел. Ещё, говорила мать, у кикиморы есть ребёнок, девчонка, пятнадцати лет – и «она уже зовёт этого скота папой». Ну и ладно. Её дело. И, тем более, его – отец-то человек давно взрослый. Отец сам решил – кого бросать, а с кем жить. То, что мать, после ухода его, и двух дней подряд не держится трезвой – вряд ли его сейчас заботит. Стоп, стоп, стоп – куда это тебя занесло?

Беда в том, что я действительно не знаю, КТО там, с той стороны: человек, почти заменивший мне отца – или псих, стреляющий боевыми в любого, кто окажется в поле зрения? Или свежеповешенный труп – того, кто почти заменил мне отца? Кто находится там – по другую сторону окна? Что ждёт меня – когда я попытаюсь забраться в темную, напитанную сладостью гниения комнату? Я не знаю. Вот почему мне так страшно. Вот почему я не могу заставить себя – встать. Мне – страшно. Страшно! Или не мне – моему телу. Это оно, тело, сделалось деревянным и отказывается напрочь подчиняться. Отказывается совершить несколько простых движений. Самых элементарных движений. Движений... Действий. Подняться. Повернуться лицом к окну. Встать на шаткую доску. Положить руки на подоконник. Подпрыгнуть. Закинуть ногу, потом другую...

Вот только голову пригнуть ниже, как можно ниже – здесь в проёме оконном, на линии смертельного огня. Ниже, ниже и ниже – пряча, сколько возможно, лицо. Если Вадя не в себе и станет стрелять – я не хочу, чтобы пуля попала мне в лицо. В глаз: больше всего я боюсь, что она ударит в глаз. Знаю, что глупо: куда бы не угодила она, результат будет мгновенен и одинаков. Но только, только бы не в глаз – и он гнул, сколько было сил, голову, подбородок вдавливая в грудь – и стыл, каменел, истуканел, слепоглухонемой, в квадратной дыре,

...а когда, с минутным совладав безволием, всё же пересилил себя и уже готов был ступить, сорваться, ухнуть с подоконника-трамплина в неизвестность и пружинящую неподатливо чернь – навстречу, ослепляя, вспыхнул свет.

* * *

Вспыхнул, чтобы гореть до утра.

А ночь июньскую делили на троих: Вадя, пацан и мёртвая Эн Эф.

В большой комнате, где земли ожидала покойница, они наново зажгли свечи, и, дверь оставив открытой на треть, сидели за кухонным столом, чай пили из алюминиевых кружек, хрустели сушками да беседовали на всякие-разные темы. На сугубо отвлечённые темы, сказал бы он – да и что здесь неясного? О том, что действительно важно, совсем не обязательно – вслух. Зачем сотрясать воздух, когда понятно всё и без символов-слов? Ему разрешили войти – а это говорит само за себя. Войти и остаться рядом – значит, он всё сделал правильно.

Позже, спустившись в схрон, они вынесли и разложили на верстаке часть Вадиного арсенала – и занялись детальным его обсуждением. Опять-таки: не только и не столько потому, что оружие для любых и разновозрастных мужиков – тема неисчерпаемая и вечная. Нет, чтобы не пришлось затронуть словом то, другое: трудноуловимое, но главнейшее, что возникает между людьми путями замысловатыми, неисповедимыми, странными даже – и, едва народившись и озарив, пугает бескрайней уязвимостью своей и предельной хрупкостью. И потому, опасаясь спугнуть-нарушить, лучше о нём помолчать – о Главном. Вот и занимали они эфир оружейными разговорами – и скоротали за ними ночь, не заметив, как заоконный фиолет сменился, мало-помалу, серым, а после – бледно-розовым.

Удивительно, но спать ему почти не хотелось. Разве что – самую малость. Полчасика бы вздремнуть, и – порядок.

– Помнишь австрийский штык, что я у Деда в январе на динамит выменял? – спрашивал Вадя, и он, борясь со сном, качаемый размеренно-ласково меж явью лучистой и небытием, отвечал:

– Помню, конечно! Классная вещь. Ты говорил, что на чердаке его где-то посеял, да так и не нашёл, среди всего этого хлама. Месяца два назад.

– Верно. Так вот, малой: если не поленишься да пыли не испугаешься – можешь забрать его себе.

– Ух ты! Спасибо, Вадя! Я его разыщу – обязательно. Ты мне полирнёшь клинок потом, ладно?

– Сделаем. Жаль, совсем ты зелёный ещё... Но ладно, подожди... Школу закончишь – подарю тебе пистолет.

Пацан благодарно кивал и, просвеченный жарким золотом – не говорил ничего. Он и вообще не знал тогда слов, какими мог бы выразить пронзительно-яркое, абсолютно новое это чувство, полонившее его целиком. Понимание, проникновение, слияние, единение, близость... Нет, всё рядом, и всё – стороной... Уверенность в том, что любые, даже самые железобетонные доты, воздвигаемые людьми для кровавой и сомнительной обороны – не прочней, чем театральный картон. Стоит лишь вдохнуть, выдохнуть и, о собственной забывчивости – ближе, вплотную, в упор. Преодолеть, добраться и увидеть всё так, как есть... Так, как должно быть. Должно, только не часто бывает. Совсем почти не бывает – если начистоту. Нет, не выискать мне совпадающих слов...

Да это, в конце концов, и не суть – слова. Все правильные слова найдутся потом. А сейчас, – сказал себе он, – мне достаточно знать, что оно, краеугольное – есть, пусть пока и без имени. Есть – и останется со мной навсегда.

Потому что в четырнадцать, восемнадцать и двадцать лет ещё веришь в смысловую его состоятельность – этого «навсегда». А повзрослев и, как водится, разуверившись, начинаешь смутно сожалеть о былом и всё чаще ловишь себя на мысли: лучше бы, ей-богу, остаться там, в юности, осиянной бесшабашной, слепой и прекрасной, в слепоте своей, верой – забывая о том, что со временем можно заигрывать, но не стоит даже и пытаться его обмануть. Всякий обман, самая попытка его, выйдет, так или иначе, на лишенный жалости свет, и чем позднее раскроется она, обречённая ложь – тем суровей последует наказание.

* * *

...И два десятка лет спустя, оказавшись в прежних, оставленных давно палестинах, он будет иметь полную возможность убедиться в этом. Бараки снесут, яблоневые сады выкорчуют, и ничто не будет напоминать о том, что когда-то на месте 112-го километра новой скоростной автострады скандалил, пьянствовал, дрался, загибался и любил рабочий, с названием нехитрым, посёлок – Первый.

В стремлении отыскать хоть малые следы, он проедет пять вёрст к захиревшему Третьему, ещё одной из своих многочисленных родин – и там ему повезёт больше. Низкорослый, веса пера, мужичонка – из тех, что трутся дни напролёт «под магазином» в неизлечимой и яростной алкогольной жажде – мужичонка, в каком далеко не сразу признает он Васку-Тунгуса, редкого, в прошлом, силача и грозу окрестностей, расскажет ему, что и как. Кто и когда – если быть точным.

Сашка-Доцент, резаный-стреляный в мужеских распрях бесщётно, и всё зря – пьяную смерть обнаружил в собственной кухне, от руки ревливой сожительницы – в девяносто шестом.

Толик-Длинный – закончился от цирроза на проссанном одиноком одре – двумя годами позже.

Доллар – выбился-таки в люди, перебрался в Город и ворочал одно время настоящими деньгами – пока не перешёл, по первенской врождённой незрелости, оголтелости и бесшабашью, пару-тройку не тех дорог – вскоре после чего и найдён был взорванным в представительском своём авто – за три года до нового века.

Вася-Тунгус – да вот он я, перед тобой! Ты, брат, и не признал сперва, точно? Что говорить, меняется всё, и ты вон как заматерел – не узнать, бля буду! Слушай, а пары копеек на поправку здоровья у тебя не найдётся, трубы, сам понимаешь, горят, а денег – ни копыя, и долгануть негде, ох ты, вот спасибо, ты меня просто спасаешь, брат, до чего я рад, что нашлись-словились... Взаимно, Тунгус, как иначе? Нет, нельзя мне, я за рулём, ты давай сам – и за моё здоровье стопарь потяни, ладно?

Что до Вади – мне не нужно ничего рассказывать. Я всё знаю сам. Я ещё жил там, когда это случилось. Ровно через год после смерти Эн Эф. В тот день «духи» снова тревожили и одолевали, с самого утра. Я находился рядом с ним неотлучно, за исключением единственного часа, которые понадобился мне, чтобы сгонять на Вадином мотоцикле домой и посмотреть, как там перемогается запившая накануне мать. В этот час всё и произошло. «Духи» прижали Вадю и не давалидохнуть, «духи» доняли, допекли и загнали его в глухой, глуше некуда, угол, выйти откуда можно было лишь одним способом: упереть обрезанный ствол в челюсть снизу и – нажать спусковую скобу.

...Так что же осталось-то? – спрашивал он себя, воротившись на эту самую автостраду и на волю отпуская движок. Что осталось от него, моего аномального детства? Неужто – совсем ничего? Да нет, глупости. Не может такого быть. Что-то оттуда я вынес и сохранил – единственное, сокровенное, основное. То, что всегда со мной, и чему я так и не смог до сих пор отыскать подходящего имени. Просто я знаю, что оно, краеугольное, есть – и останется со мной ещё долго. А названия, символы, слова – Бог с ними... Это, в конце концов, далеко не главное – слова. И сути они никак не меняют.

Примечания

*ООР (аббр.) – особо опасный рецидивист

**матка (бел.) – мать

Дорога за горизонт

...свившаяся в петлю и не дающая дышать – есть ли что безысходнее? Когда год живешь с заслуженной шлюхой района, находишь каждое утро в постели жиром заплывшее, бело-дряблое ее тело – сможешь ли верить в шелковокожую, юную вечно любовь?

Это – будто снова оказаться в машине отца на пустынной утренней трассе, как четырнадцать лет назад. Мать кричала в окно: нельзя садиться за руль в таком виде, это верная смерть – вот он и пытался остановить.

А теперь «шестерка» рвет воздух со скоростью сто тридцать пять километров в час (ехать быстрее она просто не способна), а он, двенадцатилетний, застыл, вжавшись в сиденье, руки уперев в панель – потому что отец, разогнав «Жигуленка» до предела – мигом неуловимым заснул. Он смертельно, невозможно был пьян, отец, он действовал «на автопилоте», – а сейчас, не отпуская руль, спит, два раза всхрапывает даже, и маленький Затонский понимает – все, приехали! Совсем скоро, вот-вот, через сотню-другую метров – а сделать ничего нельзя.

Вот она – безысходность. Вот оно – безверие, неверие, утрата веры в лучший исход. Тяжесть, звон, пустота. Тяжелая, звонкая пустота. И ничего нельзя изменить – остается только, вжавшись в сиденье, ждать. Машину уводит вправо, медленно, но верно ее уводит вправо, страшнее и ближе, совсем ничего остается до катастрофы – но, так же мгновенно и непонятно, отец просыпается. Случаются все же на свете чудеса – пусть и не часто. Отец просыпается, съезжает кое-как на обочину, глушит мотор – и отрубается-храпит снова.

Отец... «Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал...» Отец – при смуглости своей, щетинистости и крючконосости – больше походил на кавказца, чем сами урожденные дети гор. А между тем, кавказских корней, да и вообще никакого отношения к Кавказу не имел. Разве что в последние годы, когда купил сильно подержанный КамАЗ, на каком, доведя его до ума, и возил в Республику фрукты с того самого Кавказа. Затонский и сейчас его помнит – пахнувший дальней дорогой, нагретым железом и машинным маслом, с сиреневой кабиной КамАЗ. Чуть пониже ветрового стекла – надпись во всю ширь затейливыми буквами: ПОМНИ, ТЕБЯ ЖДУТ ДОМА!

Ждали, понятно – еще как ждали! Мама-медсестра и он, маленький Затонский, такой же экстерьером «чечен», как и папаша. Отец возил фрукты с Кавказа, после рыбу из Мурманска, копченое сало из Украины – его ждали. А потом он уехал за помидорами и не вернулся – перепутал, сука, дома. Теперь другая семья ждала его в другом доме, в Ельце – вот как бывает. И снова приступила она, тяжелая, звонкая пустота – на этот раз для сумрачной красавицы мамы. Та самая пустота, что одолевала сейчас Затонского. Та пустота, страшной и безысходнее которой быть ничего не может, ибо имя ей – безверие.

* * *

Средства на прожитие Затонский добывал преподаванием «вышки» в Институте Транспорта, а все остальное время, ворую часы у отдыха и сна, сочинял труд, долженствующий упорядочить мир – ни больше, ни меньше. Это занятие он и полагал истинным своим предназначением. Труд назывался «К вопросу о точном математическом обосновании закономерностей исторического развития» – что-то, помнится, в этом роде. В том, что такое обоснование существует, Затонский нисколько не сомневался. Он, казалось, и родился с интуитивным, расплывчатым – но безусловным этим знанием.

Однако, чтобы перевести историю человечества на чеканный, отточенно-неуязвимый язык математических формул, требовались годы и годы скрупулезных, механически-нудных, пугающих непомерными объемами вычислений. Так Мария и Пьер Кюри, ютясь в холодном, продуваемом насквозь сарае, вынуждены были перелопачивать и таскать на себе

тонны руды, чтобы получить в итоге несколько граммов искомого материала – великий, выстраданный в годах каторжного труда и лишений результат.

Такова суровая проза всякого великого открытия – а в том, что открытие его должно стать именно великим, Затонский не сомневался. Да оно и понятно: подвергнуть математической обработке тысячи и тысячи разрозненных исторических фактов и создать алгоритм, позволяющий яснее увидеть прошлое и спрогнозировать с высокой точностью будущее – это ли не прорыв в историко-математической науке?

Мир, в бесконечном движении своем и развитии, в совокупности прошлого, настоящего и будущего представлялся Затонскому грудой частей замысловатого паззла, которые он рано или поздно разместит в единственно верном порядке – и полученная картина выйдет грандиозной и простой, как и все воистину грандиозное. Отдельные фрагменты ее уже проступали достаточно ясно, однако требовалось еще работать и работать, вкалывать до полного изнеможения, забывая о хлебе и сне – полужанье ведь не есть истина. Работы Затонский не страшился – но с определенных пор всерьез был обеспокоен иным.

Все чаще, краткими, но губительными кавалерийскими наскоками стали одолевать его приступы безверия – вот где был настоящий ужас. Замысловатый, но логически вполне объяснимый, а главное, предсказуемый механизм исторического развития, который математик выстраивал уже третий год, вдруг туманился, на глазах мутнел и рассыпался с адским грохотом на куски.

Затонскому начинало казаться, что никакого математического обоснования и нет, и быть не может – а есть лишь вечный, неистребимый бардак мироздания и бытия, в каком человечество, со всеми своими строями-формациями – такая же безмозглая субстанция, как, скажем, вода в горной реке или лава, истекающая из раскаленного жерла и сжигающая все на слепом и безжалостном своем пути. Вот это действительно было нехорошо – ибо что может быть страшнее безверия?

В такие периоды Затонский не проводил, а отмучивал свои пары в Институте и спешил скорее домой. Там, думалось ему, в тишине опустевшей окончательно год назад квартиры, легче будет углубиться в анализ и найти ответ на мучительный этот вопрос – с чего же все началось? Когда нарушился отлаженный ход, при котором и призрак сомнения не возникал на мрачноватом, но отчетливом ментальном горизонте ученого? Затонский, не переодеваясь, укладывал нетяжелое тело поверх покрывала и принимался размышлять.

* * *

...и глупо, разумеется, винить Николая Рериха в том, что на выставке именно его картин бледная Эля впервые увидела этого негодяя, прапорщика Гомона. Это вообще аномалия, или, проще говоря, кретинизм – прапорщик разведбата, посещающий художественные выставки! Зачем, спрашивается, диверсанту любоваться полотнами «Гималайского цикла»? Всякому ведь понятно, что прапор, даже выдающийся, разбирается в искусстве, как свинья в апельсинах. И куда только смотрит армейское начальство, допускающее вопиющий этот беспредел?!

Так ли, этак ли – сделанного не воротишь. Прапорщик Гомон встретился с бледной Элей, а месяц спустя уже пилил, сверлил и долбил в ее квартире, производя ремонт и порождая при этом массу ненужного шума. Вояка – что с него взять? Тупоголовый солдафон, кретин с глазами мечтательной гимназистки. Гимназии, а соответственно и гимназисток, в Городе не было, но Затонский – сосед и несостоявшийся муж бледной Эли – полагал, что такие, снабженные сверх меры ресницами, голубовато-льדיстые наивные глазищи могут быть разве что у влюбленных гимназисток-девственниц – но никак не у двухметрового, весом далеко за сотню килограммов, головореза, обученного смертоубийственным диверсионным штучкам.

И лишь рожа диверсанта – не лицо, а именно рожа – частично примиряла математика с девичьей роскошью глаз новообретенного соседа. Насыщенно-брусвяного колера, она, казалось, вырублена была из дубового чурбака пьяным в дугу плотником – во всяком случае, при виде ее на ум Затонскому приходило именно выражение «топорная работа». С такой рожей нельзя даже близко подпускать к искусству, а тем более, к картинам Рериха! Затонский простить себе не мог, что сам же и затащил бледную Элю на злополучную эту выставку.

* * *

Мать Затонского служила медсестрой в Первосоветской. С тех пор, как математик приступил к эпохальным своим изысканиям, общение между ними свелось к максимально возможному минимуму. Так и жили они, мать и сын: в одной квартире – и почти параллельных мирах. Затонский и вспомнить-то мог сущий мизер – о финальном периоде ее жизни.

Утюг, разве что – за месяц до смерти она подарила ему инновационный импортный утюг. Мать злило, что он, Затонский, преподаватель известного ВУЗа – к внешнему своему виду относится совершенно наплевательски и, когда б не она, мать – выглядел бы не лучше Кольки Штакета – бомжа, традиционно патронирующего контейнеры в их дворе. За месяц до смерти она, словно предчувствуя что-то, и разорилась на заморский, с массой опций, агрегат. Затонский, к слову сказать, пользоваться им так и не привык – ученому некогда заботиться о таких мелочах.

Итак, утюг. А что еще? Ага – она постоянно упрекала его в нежелании завести семью. Вот так и помру, внуков не увидев, говорила она. Хоть бы уже на Эльке, что ли, женился. «Хоть бы» – это потому, что у бледной Эли был туберкулез, и мать об этом знала. Знала и косовато поглядывала на соседку, принимая во внимание, что еще с прыщавого юношества сын испытывал к ней сильные чувства – насколько это вообще для него возможно. А все же, на худой конец, сошла бы и Элька. Но, когда в соседней квартире водворился на перманентный постой «диверсант» Гомон – и эта мамина надежда благополучно умерла. Как и сама она вскоре.

Накануне Затонский проснулся посреди ночи оттого, что мать громко звала его низким, взволнованным непривычно голосом. Затонский, по-стариковски кряхтя, выбрался из постели и пошел к ней, чуть приволакивая тонкие, запредельно волосатые ноги. В комнате зажжен был верхний свет, мать выглядела не в шутку напуганной.

– Вот послушай-ка, – она приложила жилистую, короткопалую руку Затонского к своей груди. – Слышишь? Вот будто побежит, заторопится – и стало. Побежит-побежит – и стало. Слышишь?

Затонский не слышал.

– Нормально вроде, ма, – сказал он. – А вообще – давай вызовем скорую. Если болит. Что мы тут гадаем? Я сейчас позвоню.

– Да не надо куда звонить, – с какой-то досадой даже отвечала мать. – Может, и вправду показалось. Вроде как полегчало уже.

Тревога в глазах ее истаивала. Затонский постоял еще какое-то время у кровати – ноги его, два шерстистых, кожей обтянутых костыля, жутковато вытарчивали из полосатых семейных трусов – а после мать сама махнула ему рукой: «иди, мол» – он и ушел. Заснуть не получалось, потому он оделся и сел за компьютер – нужно было работать, таскать эту самую руду. Мать больше не беспокоила его этой ночью. А на следующий день померла прямо на работе – сердце.

По-настоящему он осознал смерть ее много позже – месяца два или три спустя. Затонскому, помнится, понадобилось что-то в ее комнате, он поискал, нашел и, уже на выходе, заметил халат ее, так и оставленный висеть на двери. Математик помял в пальцах ситцевую ткань, после поднес ее к лицу и понюхал – запах был тот самый, родной, материнский, с легкой примесью больницы запах, памятный по детским еще годам.

Халат – константа, постоянная, а мать – переменная. Мозг, по привычке, работал в математической плоскости, но тут же, устыдившись, Затонский мысли эти зачеркнул, скомкал и выбросил прочь из головы. По сути, однако, все было верно. Халат висел здесь при ее жизни и продолжает висеть сейчас, а мать – была и нет ее, и никогда больше не будет. Только теперь, при виде веселенького этого, пахнущего матерью ситца, по-настоящему осознал Затонский, что значит это – никогда, и тихонько, поскуливая и всхлипывая, как ребенок, заплакал.

* * *

Вспомнился и еще момент, неприятно его поразивший. Как-то, ближе к лету, возвращаясь с работы, Затонский кинул мельком взгляд на блекло-голубую беседку в глубине двора – летела оттуда матерщина, стучали гулко о столешницу костяшки домино – мужики привычно забивали козла. Ничего экстраординарного здесь не было. Каждый год, едва только устанавливалась более или менее теплая погода – занимали они освященный традициями плацдарм свой – чтобы сдать его уже с осенними холодами. Всегда, сколько помнил себя Затонский, с весны и до осени мужики сидели в небесной беседке, тянули потихоньку водяру и гребили рогатое животное.

Но позже, когда он поужинал и сел работать, снова навалилась она – тяжелая, звонкая пустота, и будто существо мелкое вспрыгнуло Затонскому на голову, расположилось там похозяйски и принялось тюкать-долбить в самую макушку острым стальным клевцом.

Вот именно, что ВСЕГДА – понялось ему. Двадцать лет назад, когда он был совсем еще зеленым пацаненком, и десять, и сейчас – всегда они забивали козла. И еще двадцать лет пройдет, и полвека – ничего не изменится. Все так же мужики будут сидеть в блеклонебесной беседке, попивать водку, материться и грохать о стол костяшками домино. И наплевать им с Эйфелевой башни на все и всяческие закономерности, которые он собирается математически обосновать.

Он может благополучно завершить труд свой, прославиться, разбогатеть, получить Нобелевскую премию, или, напротив, сжечь необратимо мозг в мучительных попытках обрести истину, сойти с ума и переехать на постоянное местожительство в дурку – но и в том и в другом случае, доведись ему снова оказаться в своем дворе, картина останется неизменной – мужики будут сидеть в беседке и забивать вечного козла. Где здесь движение? Где развитие? Зачем тогда все? К чему корячиться каторжно и недосыпать, выкуривая по две пачки сигарет в сутки – если это никому не нужно, если неспособно это хотя бы что-то изменить?

Вообще, в последний этот год все шло из рук вон плохо – и даже хуже. Дорога, ровной линией уходящая вдаль и тающая у линии горизонта, свилась теперь в петлю, и петля эта стягивалась сильнее и сильнее, перекрывая всякий кислород. Всюду была измена – что уж тут говорить, если даже Рерих, какого безмерно уважал Затонский, подложил ему такую свинью?

* * *

И не то страшно, что диверсант Гомон, поселившись у бледной Эли, бесконечно пилил, сверлил и долбил, создавая массу вредного шума. Нет, не то – хотя, казалось Затонскому, если бы все время, что работала дрель, диверсант сверлил одну и ту же дырку, то давно бы уж добрался до земного ядра, прошел его и вышел на обратной стороне Земли. Куда хуже был факт, что супружеское ложе Гомона и бледной Эли находилось непосредственно за стеной, и все подробности их половой жизни, до скрипа пружин включительно, были Затонскому слышны досконально. Оставалось только гадать – случайность это или тонкий садистский расчет: ведь всякий порядочный человек знает, какой повышенной звукопроницаемостью обладают хрущевские стены (в том, что все приличные люди вышли из хрущоб, сомневаться не приходится).

Поначалу, слушая застенные стоны бледной Эли, Затонский жалел ее даже: шутка ли, когда на тебя взгромоздятся сто тридцать килограммов диверсанта, да еще и не будут при этом лежать без движения – наоборот! Однако жалости этой быстро приступил конец: встречаясь с Элей на лестнице, Затонский не мог не отметить, что супружеская жизнь с прапорщиком явно пошла ей на пользу – алебастровый оттенок кожи сменила здоровая розовость, и вся Эля как-то округлилась, пополнила и сделалась более женственной – вот чертов прапорщик! В плане секса, надо отдать ему должное, он был более изобретателен и неутомим, чем в свое время Затонский. Намного более изобретателен. Несравненно более изобретателен и неутомим – если совсем уж честно.

Но хуже всего то, что эти их забавы не дают ему сосредоточиться. Ему, Затонскому, некогда заниматься всякой ерундой, нужно вкалывать, таскать на собственном горбу руду, складывать тот самый пазл, который во многом прояснит картину мира – а вместо этого едва ли не каждую ночь приходится слушать бойкий пружинный скрип, все более страстные стоны и вскрики Эли и рык звериный неистового Гомона – куда это годится?

Одно время Затонский даже подумывал перебраться в комнату матери – но после мысль эту с негодованием отверг. Какого черта он должен капитулировать, скрываться, бежать от низменных африканских страстей? Он – творящий в этой жалкой, с выцветшими обоями, комнатухе историю! Кто вспомнит через сотню лет диверсанта Гомона? Кто вспомнит вероломную Элю? А его, Затонского, имя золотыми буквами запишут на скрижалях истории. Что такое «скрижали» – математик представлял смутно, но не сомневался, что так оно и будет. Будет – если только ему перестанут мешать и дадут сконцентрироваться на работе.

А между тем – не давали, и не думали даже давать. Напротив – сексуальные пиршества за стеной делались все продолжительней и изощренней. Диверсанту удалось-таки разбудить в Эле ту неукротимую, жадную до мужского тела природную самку, которую Затонский до того едва не усыпил окончательно, совокупляясь с отстраненностью истинного мыслителя, аккуратно, вяло – и всего дважды в неделю.

Так или иначе, узаконенные оргии за стеной продолжались – и Затонский одно время даже предпринимал ответные меры. Выждав, пока возня за стеной примет предоргазмичное звучание, он хватал тот самый, матерью подаренный уют и принимался методично долбить им в стену. Возня с той стороны разом стихала и возобновлялась лишь несколько минут спустя – но уже в гораздо более скромном диапазоне. Действовало это средство безотказно. Представляя, каково им там, за стеной, быть прерванными перед самым полетом в блаженство, Затонский поёживался даже от собственной жестокости. Но те, в конце концов, вели себя по отношению к нему не менее безжалостно, не давая углубиться в материи неизмеримо более важные, чем жалкие испытания на полигоне кровати – так почему он должен поступать милосердно?

Затонский не сомневался, что рано или поздно диверсант непременно набьет ему морду – и потому несколько не удивился, когда тот действительно остановил его как-то на лестнице. Забавная эта была картина: маленький и сухой, черный, как жук, Затонский, и громадный, скандинавского типа, Гомон с этими своими глазами мечтательной гимнастики на обветренной роже викинга – и тот, и другой в своем роде были замечательны.

– Послушайте, Александр, – сипловатым, но крайне интеллигентным голосом молвил Гомон (еще одна загадка, для Затонского неразрешимая: ну откуда, откуда у вояки-диверсанта интеллигентный голос, и как он, интересно, с ним управляется, в армии-то?) – Давайте поговорим, как взрослые люди. Зачем вы это делаете?

Затонский молчал.

– Да, да, я понимаю, у вас с Элей были отношения, и вряд ли мое появление принесло вам много радости – но она, в конце концов, сама сделала свой выбор. Никто ее не принуж-

дал. И предпочти она вас – я воспринял бы это как должное и не стал бы мешать. Мы с ней муж и жена, знаете ли. А вы – серьезный человек, ученый – ведете себя как ребенок.

Затонский молчал. Гомон вдруг смутился, льдисто-голубые глаза его обрели беспомощное выражение.

– Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать, – совсем уже неубедительно промямлил он. – Я понимаю ваши чувства – поймите и вы мои. Вы же умный человек. Пожалуйста, прислушайтесь к моим словам. Всего хорошего.

Гомон, легко неся огромное свое тело, заспешил по лестнице вниз, а Затонский, хмурая почти-Брежневские брови, поднялся к себе. Ну что за тип этот Гомон! Тоже, диверсант, называется! А ведь участвовал в боевых действиях, награды имеет... Ведет же себя в точности, как гимназистка. Вместо того, чтобы элементарно набить рожу, пускается в совершенно бесполезные объяснения. Врежь он Затонскому в челюсть – и все стало бы на свои места. А так – получается, что Гомон во всем прав, великодушен, мудр и всепрощающ, а он, Затонский – кругом виноватый подлец, разрушающий зловредным своим утюгом гармонию семейной жизни. Что за прапорщики пошли нынче в армии! Да еще и по выставкам художественным шляется – ну ни в какие ворота! Однако тактика, а может, искренность Гомона сработали – нарушать половую идиллию Затонский перестал. Он перебрался-таки в комнату матери.

* * *

В один из летних четвергов математик, возвращаясь с работы, особенно был пасмурен, две глубочайших складки резали смуглый лоб. Во дворе он кинул взгляд в сторону небесной беседки, хотя мог бы и не делать этого: мужики, разумеется, были там, матерились и вколачивали в стол неизменные кости – все, как всегда.

И та же, ставшая уже привычной, тяжелая, звонкая пустота. Затонский послонялся бесцельно из комнаты в комнату, после прилег на кровать и закурил, выдувая дым в потолок.

Работа застопорилась совершенно. Надо признать, он дошел до края. Или до ручки – это уж кому как нравится. Хотя и так, и этак будет неверно. Он вообще никуда не дошел, и не может прийти. Та дорога, что уходила к горизонту, тая в вечернем сумраке, теперь в удушьящую свилась петлю, и целый год он ходит по кругу, оставаясь, по сути дела, на месте.

Дорога, тающая у линии горизонта... Идя по ней, я разучился смотреть по сторонам, сказал он себе. Умерла мать – а я почти не заметил этого. Бледная Эля ушла к прапорщику Гомону – но мне некогда было скорбеть об утрате. Я слишком был занят на этой дороге, уходящей за горизонт. Я только и делал, что терял – но ни о чем не жалею и ничего не прошу. Кроме одного – веры. Веры! Той самой веры, без которой я не могу и на сантиметр продвигнуться вперед. Веры, которая оправдывала все – и которой я сейчас лишен. Веры, без которой дорога, уходящая за горизонт, обратилась в петлю, и петля эта давит все сильнее, лишая меня всякой возможности дышать. Все, что нужно мне – это вера...

...и тишина! Элементарная тишина! Невообразимый музыкально-праздничный грохот стоял за стеной – в ярости Затонский вскочил на ноги. Сволочи! Проклятые бездельники! Не работают сами и другим не дают! Сейчас он пойдет и выскажет все, что о них думает – всклокоченно-черный, сверкающий зло белками, математик действительно был грозен. Нет, все-таки имелись у них в семье кавказские корни!

Дверь открыла Эля – безбожно красивая, как влюбленная Клеопатра в лучшие свои годы.

– Вот молодец, – сказала, улыбаясь, она. – Значит, не забыл еще, когда я родилась? Ты проходи-проходи – погуляешь с нами немного. А то все работаешь, работаешь – надо же и отдыхать когда-нибудь. Как продвигается?

И минутой спустя Затонский уже сидел за столом, между сержантом-разведчиком, таким же массивным, как и Гомон, воином, и крашеной в три сумасшедших цвета рыхлой

бабенкой, Элиной коллегой из Фонда Социальной Защиты – сидел, поглядывая то и дело на королевствующую во главе Элю и решая ребром восставшую перед ним задачу.

Не может этого быть. Это оттого, что он выпил – вот и лезет в голову всякая блажь. Он не пил целый год, а теперь выпил – и Эля, надо отдать ей должное, на диво сегодня хороша. Ну ладно, ладно, пусть хороша – но разве связано это хоть малым самым образом с тем, что происходит с ним в последнее время? Не может этого быть. Или все-таки может? Неужели все дело в том, что в свое время он прозевал бледную Элю, не сберег, отдал ее без боя диверсанту Гомону – чтобы расплачиваться теперь безверием и утратой пути? Что, если так и есть?

...Гомон, между тем, громоздясь над столом, демонстрировал шашку в богатых ножнах, привезенную из последней командировки.

– Не дамск, нет – обычная гомогенная сталь, – объяснял, застенчиво улыбаясь, он. – Но закалка отличная, и отточена – волос рубит. Мы в одном доме целую коллекцию взяли. Обратите внимание на изгиб клинка...

Затонский уже выбрался из-за стола и шел к диверсанту. Лоб математика по-прежнему был нахмурен, он то и дело морщился, будто от кратких приступов боли, да так оно и было – тот, маленький, настырный и злой, снова долбил его в самое темя острым, блестящим стальным клевцом и, ударяя, посмеивался и приговаривал: «Прозевал, прозевал, прозевал...»

Гомон, хлопнув дважды ресницами, выблеснув дружелюбно кипенно-белым, вложил в протянутые руки оружие. Затонский потащил из ножен зеркальный клинок, отсвет упал на сосредоточенный лик его.

– Хорошая какая сабелька, – пробормотал раздумчиво он, все с тем же лицом человека, решающего сложнейшую, захватившую его целиком задачу.

– Это шашка, – еще раз улыбнувшись, вежливо поправил Гомон.

– Шашка так шашка, – согласился Затонский охотно. И, неожиданно и страшно даже для себя, взметнул клинок над головой, зажмурился и, теряя сознание, рубанул что есть силы по месту, где должен был находиться Гомон...

* * *

– ...и никакой милиции! Пустяк, царапина – хотя, честно сказать, могло быть и хуже. Кто же мог ожидать...

Затылок ныл нестерпимо – видимо, падая, он основательно приложился им к полу. Открыв глаза, Затонский видел три матовых плафона, а рядом – топорную физиономию Гомона. Живого и почти невредимого Гомона – осмотрев диверсанта детальнее, Затонский обнаружил, что кисть левой руки белеет свежим бинтом. Сам математик лежал на полу, с двух сторон его крепко держали за руки – сидевший рядом с ним за столом сержант и еще один из диверсионного племени.

Стоило ему проявить признаки жизни – тут же все и всяческие звуки смолкли, даже Гомон прервал неторопливую свою речь.

– Отпустите, – сказал Затонский хрипло. Гомон кивнул головой – державшие ученого разведклевщи разжались. Ощупывая терзаемый болью затылок, математик поднялся кое-как на ноги. Тишина была упоительная – как ночью в морге в мертвый сезон.

Все встало на свои места. В две или три минуты, что он был без сознания, непостижимая химическая реакция произошла в мозгу, и все виделось теперь в истинном свете. Это, впрочем, легко проверить. Гомон, встретив взгляд его, увел в сторону мерзло-голубые, девичьи свои глаза. Сослуживцы диверсанта с нескрываемой смотрят злобой: так, кажется, и разобрали бы на части, разделали ученую тушку! Трехцветная коллега с ужасом глядит и непониманием, а Эля – прекрасна брызжущей из глаз новорожденной ненавистью. Все правильно – так и должно быть. Он, Затонский, глубоко заблуждался, полагая, что причина

в ней, Эле. Все проще, или сложнее, но Эля – бледная, как раньше, или налитая соками жизни, как сейчас – совершенно здесь не при чем.

Он только что это понял. Год мучился и блуждал впотьмах – а понял только сейчас. Год, оказывается, он обманывал себя, цепляясь с отчаянным упорством за то, что принадлежало ему когда-то – потому и дошел до такого состояния. А все, оказывается, просто. Нельзя служить двум богам. Дорога не терпит компромиссов. Хочешь идти по ней – откажись от всего. Забудь о том, что имел когда-то. По дороге этой ходят налегке – а то ведь можно и не добраться – и лишь в одиночку. Потому-то они сейчас вместе – злобой объединенные, ненавистью, презрением, непониманием, чем угодно, а он – один. Так и надо. Так и должно быть. Любовь, признание, деньги и цветы – все там, за горизонтом. Но дорогу эту ты должен пройти один – вот и весь секрет. А все остальное, включая утраченную Элю – выдумка, нервы, блажь.

В полнейшей тишине Затонский повернулся и пошел из комнаты прочь – никто не шелохнулся и не произнес ни единого слова. Дома он сразу лег в постель – чтобы вздремнуть час-другой и приступить к вычислениям. Затылок ныл нестерпимо, но мозг работал отлаженно, точно, ясно, как не бывало уже давно. Затонский прикрыл глаза – и улыбнулся. Не было ее, удушающей петли, дорога ровной линией уходила вдаль и таяла у линии горизонта – та самая дорога, которую он должен пройти один.

Белый пух нашей Ядвиги

Всю жизнь, сколько мы ее помнили – Ядвига мела.

Шаркала и шаркала неспешно метлой; осенью сгребала и жгла за ржавыми гаражами бурые, едким дымком исходящие листья; зимой, вооружившись совковой лопатой или скребком, она убирала снег. Железо скрежетало о мерзлый асфальт, взвизгивало и рычало, парало нам нервы и слух – потому, может быть, мы досадовали порой на дворничиху Ядвигу.

В минуту отдыха Ядвига, устроившись на желтой скамье, потягивала дешевое винцо из плоской импортной фляжки, подаренной непутевым сыном Николаем. Для того, чтобы опьянеть, в ее возрасте требовалось не так уж много, да она, казалось нам, и родилась такой – слегка уже навеселе.

Подвыпив, Ядвига пела – каждый раз одну и ту же, выученную нами давно наизусть песню о черном вороне, какой, невзирая на просьбы дворничихи, с редкостным упорством вился и вился над ее головой.

– Думаете, всю жизнь Ядвига старухой была? – говаривала, обращаясь к нам, дворничиха. – Нет деточки, раньше все не так у Ядвиги было! Раньше Ядвига красавицей была – и какой красавицей! В хоре пела, в сарафане да кокошнике, перед Сталиным самим один раз выступала, в Кремлевском Дворце Съездов – в пятьдесят первом, как сейчас помню, году. Не-е-т, деточки, Ядвига – другие знала времена, другие пела песни!

А мы, дети девяносто шестого дома – недоверчиво улыбались. Да – по тому, как кружил в ее исполнении ворон, можно было сказать наверняка: когда-то она действительно умела петь, и очень, должно быть, неплохо – но теперь растрескавшийся от старости, потускневший от времени голос ее не вызывал особых симпатий.

– Да уж – перед Сталиным! – хмыкали мы. Сама возможность этого представлялась нам смехотворной: Сталин – он был из учебников по истории, командовал шестой частью суши, жил в Кремле, ухоженные имел усы и миллионами истреблял врагов народа, за что гореть ему в аду неугасимо – а кто, скажите на милость, Ядвига?

Дворничиха – обычнейшая из обычных. Но все же...

Вечная дворничиха, живая реликвия нашего двора, ничуть не менявшаяся с годами – только новые борозды резало время на усохшем ее лице. Да и вся она, в неизменно-небесной спецодежде, скрадывалась и истончалась, мумифицировалась до предела – но, как прежде, мела и мела, шаркала мерно метлой, а где-то там, за периметром нашего двора, уходили Генсеки, умирали Генсеки и являлись новорожденные Президенты – чтобы тоже потом уйти.

Не выдвигаясь за ажур ограды, Ядвига совершала головокружительные путешествия из государства в государство: начав мести в Советском Союзе, она, с нехитрым своим инвентарем, перебралась в СНГ, а оттуда уже – в Беларусь, где и обосновалась на завершительное жительство.

Вот такая была она, Ядвига – мела, тянула винцо, перелитое в заморскую, недобрым сыном привезенную фляжку, распевала песню об упрямом, как осел, вороне и грешила, как казалось нам, чрезмерным хвастовством.

Подвыпив, путаясь в мыслях и словах – в голове у нее и без вина перемешалось все, пылью покрылось и плесенью, заткалось густо паутиной, как на ветхом чердаке под снос назначенного дома – она хвалилась, какой замечательной красавицей ходила когда-то и скольких мужиков лишила покоя, сна и остатков разума. Гордостью Ядвиги и главным ее аргументом в те времена была русая, чуть ли не до пят, коса – так, во всяком случае, утверждала она сама.

А нам, признаться, трудно было поверить в это, глядя на легчайший и белый, как снег перводекабрьский, пух на голове дворничихи, сквозь который просвечивала желтовато-розовая, в пятнах пигментных кожа.

Так жила эта Ядвига, управлялась по дворничьим своим делам, тянула копеечное винцо, единственную пела песню, хвасталась напропалую на желтой скамье – а мы, пацаны девяносто шестого дома, подрастали, заканчивали школу, шли в армию и институт, мы женились и уже наши дети шевелились в животах наших жен – мы окончательно привыкли к Ядвиге, древнему, по большей части пьяненькому и любящему прихвастнуть существу.

* * *

Тем более были мы удивлены, узнав, что Ядвига – умерла.

Как это так – умерла? С чего бы вдруг – умерла? Глупости какие-то – не может этого быть! Столько лет жила себе да поживала, не меняясь ничуть с годами: все тот же белейший пух, морщины в палец толщиной на съезжившемся лице – а тут вдруг умерла!

Мы рассердились даже – нельзя же так нарушать установленный некогда ход! Но фактом оставался факт – дворничиха Ядвига действительно, как говорят чопорные британцы, присоединилась к большинству.

Николай, сын ее и поздний ребенок, давно уже обретался на кладбище; кое-кто вспомнил, что во Владивостоке должна проживать Ядвигина дочь – но адреса ее никто, разумеется, не знал. И, поискав в квартирке Ядвиги – пахло там непередаваемым, чуть-чуть едким запахом вековой старости, близкой, нестрашной и ожидаемой смерти – наши старухи обнаружили коробку от конфет «Ласточка», завернутую аккуратно в целлофан и перетянутую резинкой, а в коробке этой – фотографии, документы и корреспонденцию: открытки и письма отдаленной, дальше некуда, дочери.

Да, да – именно тогда без особого удивления познакомились мы с прежней красавицей Ядвигой, с длиннейшей русой косой, в сарафане и кокошнике, Ядвигой, глядящей на нас с фотографии, сделанной в пятьдесят первом году, в том самом Дворце Съездов... Без особого удивления – мы ведь не были больше детьми. Мы в положенный срок прозрели и поняли, что Ядвига не умела просто-напросто врать – не дано ей было этого искусства от природы.

Дочке Вале отправили телеграмму, но Владивосток подальше, чем магазин «Символ», да и дочь – давно уже бабушка, и вряд ли можно было рассчитывать на своевременный ее приезд.

И тогда за дело взялись старухи – интеллигентные городские старухи.

Старухи пошли по квартирам – и каждый, даже самый безденежный из обитателей девяносто шестого дома, дал, сколько мог.

Покойницу обмыли, одели соответственно случаю и поместили в новенький, пахнущий свежей сосной гроб, в изломанные старостью пальцы сунули тоненькую восковую свечку – торжественно сделалось и хорошо.

Ядвига лежала строго, с окостеневшим, как-то разгладившимся лицом; белейший, легкий пух ее забран был траурным платком. Городские старухи молились – сдержанно, аккуратно, негромко; в два часа пополудни прибыл пастор Камоцкий, живущий в соседнем подъезде. Этот пастор запомнился нам душевным и свойским человеком; когда-то он инженерил на Химкомбинате, но настоящее его призвание заключалось в другом.

Постояв немного, взглядываясь в лицо покойной, отдалив движением ладони сгрудившихся людей – их слишком много набилось в необъемную Ядвигину комнату, пастор сказал короткую, трогательную и простую проповедь – тем несравненным, напевным и глубоким голосом, каким обладают воистину талантливые священники.

* * *

Не припомню, что и говорил Камоцкий – сам я, замороженный музыкой его голоса, особенно не вслушивался в смысл произносимого, но, из-за неведомого угла сознания, из чужой и смутной глубины явились на поверхность слова, никем не сказанные и, должно быть, пришедшие на ум потому лишь, что я разглядывал белейший пух Ядвиги, полоску его, не скрывшую за черным узорчатым краем: « пусть будет ей пухом земля».

Они, слова эти, зацепились, вгрызлись абордажной кошкой и не отпускали, и тащили назад – в далекое, мифическое и недоступное детство

...Вспомнился единственный сын Ядвиги, поздний ребенок и бесконечный любимец. Сын этот, как знали мы из разговоров родителей, был прижит Ядвигой от залетного художника-проходимца, оформлявшего в свое время интерьер автовокзала. Художник оформил, пожил с Ядвигой год и уехал, оставив дворничихе на память белокурого отпрыска. Коля, смысленный и смазливенький мальчуган, подавал немалые надежды, учился даже в Москве на актера – но вышиблен был за неизвестные подвиги; потом он ходил в загранплавание и побывал чуть ли не во всех портах мира.

Кубинские курил он на Кубе сигары, и пил на Яве яванский ром, и мадеру он пил на Мадейре, и в Глазго пил тамошнее виски, и пил что ни попадя и где угодно, и курил что зря, и нюхал не-зубной порошок, и делал себе уколы, не будучи вовсе врачом, и подрался раз с капитаном, и кого-то к чему-то склонил, и вышвырнут был к чертовой матери из торгового флота – но все это было до нас.

Потом же этот развязный, порочно-обаятельный красавец, неудавшийся актер и отставленный моряк причалил к квартире матери своей, Ядвиги – и больше в моря не ходил.

Сын дворничихи прожил сумасшедшую, нелепую и короткую жизнь.

Вспомнилось мне, как сын этот, с бешеными и несчастными глазами, принимался иногда истязать Ядвигу прямо во дворе нашего дома. Он, ухватив мать за белый, перводекабрьский пух волос, выводил ее из подъезда – как правило, вечером, когда во дворе полно было народу, будто нарочно старался подгадать время, чтобы обеспечить себя наибольшей аудиторией – и приступал.

– Вон, опять, начинает Колька свой спектакль! Паскуда! – говорили хмуро старухи и отворачивались, чтобы не видеть.

А он, все еще фактурный, по-прежнему красивый, хоть уже и с гнильцой, ухватившись надежно за белый пух, мотал голову Ядвиги из стороны в сторону, и вслед за головой таскалось невесомым паяцем и тело несчастной дворничихи; она, должно быть, нестерпимую испытывала боль, но – молчала, истекая крупными, стремительными слезами: как и всякий зверь, при виде слабости жертвы сын ее делался еще кровожаднее.

Ядвига молчала – а что же мы, бывшие во дворе? Мужчины и женщины, старики и старухи, дети и все, все? Мы – тоже молчали, или что-то там поварчивали вполголоса, будто не зная, что лучше – никак, чем только наполовину. Мы – тоже молчали, потому что было, было в нас это: не лезь в чужие дела, если не хочешь усложнять себе жизнь. Не суйся не в свое дело – и не сунутся, придет время, в твое.

И сын Николай, совершив экзекуцию, оглядывал с вызовом людей во дворе, и каждый из находившихся там прятал взгляд – потому что в его, сына, глазах, читалось прозрачно-вызверенно-жаркое: я перешагну через все!

И, так же держа Ядвигу за белоснежный пух ее, он поворачивался картинно и уводил мать домой – чтобы вторую начать, домашнюю серию. А на асфальте оставались, подлетая от малейшего ветерка, клочья целые нежного, невесомого пуха.

И каждый раз, когда мы, дети, наблюдали, сгорало что-то безвозвратно внутри – и человек маленький делался закаленной и взрослой. И не один, верно, я мечтал поскорее вырасти и убить – но сын Ядвиги не предоставил нам этой возможности.

Февральским утром его нашли у подъезда, вмерзшим в заляпанный кровью снег.

Он мог перешагнуть через все, но другие нашлись, посерьезней – перешагнувшие через него. Одиннадцать колото-резаных ран насчитали у него на теле – и ни одна из матерей не убивалась так над погибшим детенышем, как выплакивала себя Ядвига! А он-то и сделал ей только хорошего, что подарил несчастную, заморскую эту фляжку – так виделось нам.

Но тогда, зачарованный пасторским голосом, вот что представил я себе – глупо, конечно, нелепо, но чего уж теперь врать: увиделась мне сухонькая Ядвига, там, в земле, в целом облаке легчайшего, перводекабрьского пуха, с неизменной, плоской своей фляжкой. Как, должно быть, приятно будет лежать ей в белом пуховом тепле, потягивать копеечное винцо, хвастать былой красотой и распевать единственную свою песню! И ворон, февральская птица, перестанет ей докучать.

Картинка эта маячила в глазах, как живая. Ядвига возлегала, торжественная и строгая, как требовал того момент,

– ...Аминь, – завершил музыкально Камоцкий, и – в души наши сошел непривычный, обманчивый и краткий покой.

Пастор, прихватив ветхозаветный, коричневой кожи саквояж, удалился; стали потихоньку расходиться и мы.

Я, оказавшись во дворе, закурил и кинул взгляд на часы – освобожденное время истекло, и нужно было двигать по грязноватым своим делам.

Америка находится здесь

Знают, и пальцами тычут в клеймо, не веря, что Юл – завязал.

Восемнадцать и половина: но отрицать не смогут и они, что Юл – в чистых ходит полгода.

Год за десять – на брюхе исползанный год.

Началось когда-то на осеннем балконе, на пятом началось этаже – где пахло пьяняще из ящика с малиновыми яблоками, игла уходящую настигала трубу, жидкость бурая перекачивалась в кровь, уносилась к мозгу, мгновенный вызывая приход – а потом хорошо, невыразимо хорошо было лежать на циновке, вдыхать пьянящий этот яблочный запах, курить и смотреть в тихое, звездами обильное небо.

А там раскачалось и понеслось к мутному краю, быстрее, страшнее и хуже, за собой бросая тряпичные трупы упавших.

Год за десять – а те, что живы пока, торчат, ломаются и опять же умирают, обняв унитазы, остатки свои, внутренности и кровь на желтый изbleвав кафель.

Вот он, истерзанный год – а Юл, не изживший еще розовой детскости, неудобный левша Юл уже на изломе семнадцатого своего года признаваем был одним из лучших бойцов среди Западных – и взрослые, женатые парни, прошедшие ВДВ и Спецназ, на извечных межрайонных схватках съевшие не один десяток собак – не отказывались пожать ему руку.

Было так, а исползанный год свои привнес коррективы – и те из сволочей, что держались всегда и везде за чужими спинами, и в драках бескомпромиссных – район на район – ложились при первом же ударе на асфальт, закрывали руками недоношенные головы и резали заячьими криками воздух – как раз те из сволочей, встречая стеклянноглазого, тычущегося беспомощно в стены Юла, били его: злобно, с оглядкой и, ненужной бросив падалью, таяли меж однотипных домов.

Так было, но значения уже не имело – ведь не поэтому завязал ты, Юл?

Сейчас – вернулось ушедшее на круги, и те, из подтягивающих колени к животу, берегущих гнилые свои потроха, боясь поднять глаза и, Юла завидев, жмутся подавленно-хмуро к противным стенам. Только наказывать их Юл не собирается – в виноватых держа одного себя.

Восемнадцать и половина – полгода, как Юл соскочил, а таблетки в белом пузырьке тайной остаются даже для Сашки, еврейской подружки-девушки. Они, таблетки, успокаивают – изумрудной ватой забивают накатывающую пустоту – изредка, иногда.

Пусть водка, пусть компот из торгового центра – все, что угодно, но не кубиками смерть – так говорит и она, что спит сейчас мучительно и похмельно в бежевой спальне, со сбитыми коленями заголенных ног – мама, женщина-клетка, из какой выкатился когда-то крохотный Юл – лет так восемнадцать назад.

Стыд не выжжет глаза, и смерть попутчиков того года игрушечной была, несерьезной – такая смерть не рождает страх.

Так было и с Клапаном в его, Юла, подвале – сидел на боксерском, с крюка снятом мешке, покачивался и курил, роняя ежесекундно сигарету – а двадцать минут спустя, лежа на грязном мате, шевелил только кончиками пальцев, засыпал, проваливался, отдалялся, вытянулся-простонал недолго – и нет его, сколько не пытались расшевелить.

Тогда, ночью, они вытащили тело из подвала, усадили на лавку у соседнего дома, позвонили из автомата в скорую, чтобы приехала та и забрала его – как протухшую дрянь. Вот и все – без криков и насилия, без крови и борьбы – такая смерть не рождает страх.

Восемнадцать и половина – удивительней всего то, что выползанный на брюхе год пришелся на первый курс Университета, и курс этот он завершил даже неплохо – но знали,

знали и там! Знали и знают, и теперь, наверняка, не верят, что Юл – завязал. Сашка – и та, может быть, не верит – ускользящая, гладкая и тугая, как хищник выдра, Сашка.

Стыд не выжжет глаза – но год тот, кроме злости и пустоты, принес простейшее и важное для жизни понимание: слабость – любая из слабостей – с механической наказыва-ется непреложностью, карается стремительно и беспощадно. Понимание это, надежнейшей из стальных конструкций засевшее в мозгу, и стало причиной отказа – как видел это сам Юл.

Осознание хрупкости человека заставляет обратиться к вещам. За шесть бутылок водки знакомый слесарь с Судоремонтного сделал выдающийся нож-«охотник» – теперь, оставаясь один, он тащил из чехла тяжелый и хищный, с отливом серебристым клинок, и, приблизив к глазам, разглядывал зеркальное свое отображение.

Сам факт, что коррозионно-стойкое тела клинка долго еще останется неизменным после того, как сам он обратится в землю, возбуждал Юла чрезвычайно. Нож – с эбонитовой рукоятью, медными навершием и ограничителем, с глубокими долами хищного клинка идеальным был товарищем: при бритвенной своей остроте он не болтал, не лез в душу и, что совсем редко бывает среди людей – безусловной обладал надежностью.

Теперь, позади оставив тот год, Юл вообще больше внимания уделял вещам – и посылки с тряпьем и техникой, что слал из штата Нью-Йорк дядя, очень были кстати.

Понимание человеческой хрупкости и желание забить до отказа нарождавшуюся порой пустоту уводили к книгам.

На второй перейдя курс, он просиживал до закрытия в подвале Ленинки – специальную литературу на дом не выдавали – и, когда объявлен был конкурс на лучшую курсовую, написал – и написал так, что злополучной этой работе присудили уж было первое место, но – одумались вовремя, вспомнив, что такое это – Юл.

– Признайтесь, – старая Файззулина крашеной ползла черепахой, улыбалась скорбно золотым, – признайтесь, Дмитрий: наверняка вам кто-то помогал! Работа написана – причем по-английски! – языком взрослого, имеющего обширные познания человека, специалиста в области Английского Парламента. Я сама не написала бы лучше! И не поверю никогда, чтобы такой зрелый труд мог написать студент-второкурсник, тем более, такой... своеобразный студент, как вы. Назовем вещи своими именами – не просто наплевательски, но преступно относящийся к учебному процессу студент! Да и образ жизни – сами понимаете...

– Но, даже если и вы, – тут она приглушила голос, – мне-то ведь прекрасно известно, что у вас золотая голова, но согласитесь: принимая во внимание все, что мы о вас знаем, поощрять вас было бы просто непедагогично – ведь так, Дмитрий?

Разумеется, так – мог бы ответить он. Нельзя ни в коем случае поощрять вчерашнюю тварь, подонка, который за дозу отдал бы, не торгуясь, собственную, в игольных пробоинах, кожу.

Он и не думал кривить душой и Файззулину, неглупую и добрую, в общем-то, бабу понимал замечательно – но ссадина осталась. Ссадина осталась и обретенная вновь зубастость – та, что всегда была наготове – прорвалась, верно, во взгляде: очень уж внезапно-тревожно изменилось разрисованное лицо деканши. А он, взгляд упирая в пол, простился и ушел домой – начисто утратив всякое желание сидеть оставшихся две пары.

Обходя привычные в ноябре лужи, он сосредоточенно, в такт шагам, читал про себя Битловскую «I'm the Walrus» и, захлопнув едва входную дверь, пошел к себе, потащил с полки четвертый и пятый тома Чехова, из бутылочки выкатил две мелких таблетки, проглотил, не запивая, одну за другой, и прилег, сонного ожидая успокоения.

Пустяки, самые настоящие пустяки – любой, имеющий пару хотя бы извилин, мог бы написать не хуже. Трубами-венами заструилось оранжевое тепло, и думалось – свободно и легко, как и должно думаться в лишенном трагедий городе.

Да и где тут трагедия – ненавидели и презирали за дело, правильно ненавидели и презирали правильно: таким, лицо утратившим особям, жить – ни к чему. Для тварей таких, породу человечью низводящих в прах, жизнь – дорогая непростительно роскошь.

Но память работает, как отлаженный механизм швейцарских часов, и обиды дня вчерашнего Юл забывать не намерен. Тех, кто не осыпался шелухой, узнав о новой болезни, наберется человек пять-шесть, остальных же – он знать не желает. Пусть живут в свое удовольствие и делают, что хотят – в его, Юла, мире места им попросту нет.

Есть ссадина, выпячивается-ноет голым мясом, но полгода – не срок, и год – не возраст. Уйдет тысяча дней, затянется все, зарастет, новой и прочной, не в пример прежней, затянется кожей.

Но право на память и злость мы оставим себе – руку запустив под подушку, нащупывает Юл заклепки чехла, тянет до половины клинок и так, пальцами пробуя прохладную сталь – засыпает.

* * *

...Негры пылали.

Недавно еще ходившие в животной гибкости и красоте – корчились в слабеющем вое и умирали, зловонным исходя дымком, по себе оставляя горстку легчайшего пепла. Вот они – иссиня-черные, грациозные и ногами несравненные самки, с корзинами на изящных головах, и хищные звери-самцы, застывшие в угрожающих позах, в угольных руках сжимающие смертоносные копыта – умирает на полу свободная Африка, и в рычании львином – обреченность и страх...

Он, Юл, и проснулся-то от дымной горелости, наизволок таща себя из огненного сна – и нашелся полностью в бежевой, затемненной всегда спальне, там, где пахло обычно женским голодом, вином и несчастьем – теперь же залитое им только что покрывало с прожженной в самом центре дырой еще кое-где дымилось, и он, подивившись совпадению, поднял его с пола и выбросил на балкон.

Бронзовое, с изумительно вышитыми неграми покрывало это, присланное дядей, было одной из любимейших матерью вещей – Юл смотрел, как лежит она, разметавшись, с края свесив белую, полную, с жилками зеленоватыми руку – из этой вот, с детства милой руки и выпала горящая сигарета. Пошарив за спинкой кровати, он нашел початую едва бутылку – две пустых лежали, откатившись, у платяного шкафа.

Какая была она в тот год? Всякая, сказал бы Юл: хорошая, мерзкая, прекрасная и плохая – но своя. Ни в один из чернейших мигів не отвернула она лицо – и потому жалеть ее он и не думал.

Маячит, ухмыляется из-за угла – сорок один, сорок два, сорок три, жди, я скоро приду – одиночество и близкая старость. А отец ушел к девочке-машинистке, у отца с ней вторая молодость, девочка отзывчивая, незамысловатая и юная до неприличия – как с такой повоюешь, чем победишь!?

В бездонную льет глубину, забывая, что тоска женская – не беззубый щенок, ее, тоску, не утопишь в мутной воде – жаркой, ядовитой воде. Но, хорошая или плохая, она не отвернула лицо – и потому, приподняв, он две изрядных влепил оплеухи – мотнулась, как у неживой, голова, она замычала, пробуя встать, и смотрела перед собой слезящимися глазами... Юла она не узнавала.

Он ждал, пока установится в неверном взгляде сомнительное понимание, и, ударив полегче еще раз, в самое выдавил ухо – оттого, что хотелось кричать, а кричать он не любил, зажатые волей слова протискивались меж зубов с нешуточным шипением:

– Ты что, сволочь, делаешь? Ты сожжешь когда-нибудь дом, себя и меня сожжешь – ты понимаешь, что сгоришь когда-нибудь к чертовой матери?!

Она только мычала; мутная струйка слюны повисла, в клейкую вытягиваясь нить, на подбородке. Юл отпустил – тут же, свернувшись в калач, пряча в подушку оплывшее лицо, она засопела снова. Взяв компот за липкое горло, прихватив от греха зажигалку и пару коробков спичечных, устроенных здесь же, на тумбочке, он вышел, дверь оставляя открытой.

Часы вишневые ударили торжественно и хрипло; женщина из дома напротив вышла, ногами белея, на балкон. Изо дня в день, в кратком, махровом своем халатике появлялась она ровно в шесть вечерних часов и курила, повертывая из стороны в сторону пышно-светлую голову.

И Юл, видя здесь элемент непонятной, но не менее оттого захватывающей игры, являлся к шести тоже – так стояли они, втягивая и отпуская воздух осенний и дым, разделенные полутора десятками метров, курили и переглядывались без видимого интереса, не имеющие ничего общего и связанные в то же время неведомым чем-то, сладковато-тревожным.

В том было для Юла особое удовольствие: не зная ничего о мнимой этой блондинке, он мог лепить из нее что угодно, от неуловимого агента западных спецслужб до подружки любовницы именитого городского бандита: как полагал он, женщина вполне могла быть тем или другим.

Теперь, в тусклом ноябре, она затягивалась глубоко и быстро, бросив окуроч, наблюдала, как разлетаются на асфальте оранжевые брызги и, повернувшись, шевельнув вкусно ягодицами – уходила за плотные шторы, Юла оставляя фантазировать, сколько ему вздумается.

Сейчас Юлу – не до фантазий. Он смотрит, как скрывается в квартире аппетитный, туго обтянутый тканью зад, и с раздражением непонятным думает:

– Тварь! Шлюха копеечная какая-нибудь! – он не знает о крашеной ровным счетом ничего.

* * *

– ...плюнь – и забудь! Ты думаешь, со мной такого не случилось? Сто раз, если хочешь знать, было! Обидно, конечно – так, кажется взяла бы да поубивала всех на фиг! Только все равно ведь ничего не изменишь – ты не расстраивайся, Юл – забудь!

Политехническая Сашка чертит, карандаш зажав в цепких коготках – тугая и гладкая, как хищник выдра, созданная в минуту иудейского озарения Сашка.

Сашка – тоже своя. Бывшая до, оставшаяся после – что пришлось ей пережить в тот год, знает только она сама – да еще, пожалуй, Юл. Он вспоминать не может без внутренней дрожи, как третировал девушку совсем еще недавно – он, что и в лучшем из состояний бывает совсем не подарком.

Сашка – своя, но трудно бывает верить, и Юл, поглядывая на черную, над ватманом нависшую прядь, спрашивает:

– Саш, ты скажи, пожалуйста, честно – почему не плюнула тогда, не послала меня куда подальше? Я ведь совсем было пропал, в бешеное, больное превратился животное, кроме дозы, кроме «вмазаться, сняться, вмазаться», ничего мне не нужно было – ты почему терпела, Саш?

Высунув красный тугой кончик языка, она вписывает аккуратно буквы, оторвавшись на секунду, тянет:

– Ну... почему... Ты перспективный, Юл, что же мне, взять вот так и отказаться? Профессию получишь престижную, дядя у тебя в Штатах, к себе зовет – такие женихи на дороге не валяются! Нет уж думаю – за свое надо бороться! Вот я и боролась, как могла, и терпела весь этот беспредел! А уж с тобой-то я как-нибудь управлюсь – можешь не сомневаться! Но теперь-то все, по-моему, позади – чего ж ты голову ломаешь?

Юл, не слушая, бормочет:

– Штаты, профессия, дядя... Сволочь ты, Сашка, после этого! Обыкновенная еврейская сволочь!

Он вскакивает, чтобы уйти – но взмetyвается тут же и Сашка, выбросив яростно карандаш.

– Еврейская сволочь – да?! Ты вспомни лучше, как деньги последние у меня отнимал на проклятую эту наркоту, как цепочку мою золотую и сережки свистнул, да и мамин перстень пропал – все удивлялась она и растяпой себя ругала – а я мучилась, из последних держалась сил, чтобы не рассказать все как есть! И как ходила я постоянно с синяками, и как пропадал ты где-то по несколько дней а я, дура, больницы обзванивала и морги, в областную бегала с сумками, сутками у кровати просиживала! Я с тобой, как с младенцем возилась, только что грудью не кормила – а теперь, значит, еврейская сволочь!? А все потому, что угрозило влюбиться в идиота – когда, между прочим, дяди никакого не было и в помине! Да ты поймешь разве? Ты отличить даже не в состоянии – шучу я или серьезно! Все, хватит! Убирайся со своим дядей вместе и не приходи больше – все!

Она умеет сердиться, израилева дочь, и грудь ее, – вздрагивает негодующе в такт. Успокоенный Юл, отвергая начисто возможность вербального мира, поступает единственно верным способом – и пару минут спустя она, растрепанная и полураздетая, бежит проверить входную дверь и, вернувшись, ускользает полуженским телом на диван. Так уж у них принято – чем сильнее раздоры словесные, тем неистовей физическая, вслед за ними приходящая близость.

Время постельное – суматошное, жаркое, всхлипывающее, мокрое – изматывает почище любого спарринга. Вздрагивает, замирая постепенно, горячая глубина, теперь лежать нужно, возвращая на место потолок.

Сашка уходит в ванную, а Юл подбирает раскиданную на коротко стриженном ковре одежду, тянет джинсы на влажное еще тело, смотрит в напротив висящее зеркало – там, в зазеркалье, квадратноплечий и бледный, с длинными руками парень взглядывает без особой радости в ответ.

Сашка, вернувшись – блеск недавний надежно погашен – садится за ватман: ей корячиться, в лучшем случае, до полуночи.

Можно бы и уйти – но варенье из вишен выходит у Сашкиной мамы потрясающе. Горстка из косточек растет на вечерней газете, Сашка, не отрываясь, сокрушается чуть севшим от недавних страстей голоском:

– Это мучение просто – вот где они у меня сидят! Сейчас отключаю, любимый, телефон и вперед – пока в обморок не свалюсь! Сегодня, Юл, без меня как-нибудь переберешься. Только смотри, будь хорошим мальчиком, не заставляй меня волноваться – хорошо?

– Лягу спать раньше, – говорит он. – Выпью чего-нибудь для сна и – в койку. А все-таки обидно – правда, Саш?

– Что обидно? – она не понимает.

– Да так... Саш, а ты не боишься, что опять я – сорвусь? – она-таки отрывается, готовая снова рассердиться.

– Сорвешься – последним дураком и скотиной будешь! – говорит убежденно она. – Ведь не выберешься уже – это точно! Только не верю я, что ты такой идиот!

– Да нет, не сорвусь, – он верит в произносимое, – только, Сашка, накатывает иногда – так фигово становится! Все у меня не так, как у нормальных людей! Мои вот однокурсники – все как один знают, чего хотят, все у них распланировано и предрешено до самой гробовой доски – отчего у меня этого нет? Если б знала ты, как я им завидую! Что я за урод такой, Сашка? Почему неинтересно мне трепаться о карьере и деньгах – как будто есть в этом что-то преступное! Почему мне вообще неинтересно с ними разговаривать, Сашка? Они же лучше, в миллион раз лучше меня – я сам прекрасно понимаю! Я, Сашка, как щенок в темной ком-

нате: тычусь в стены мокрым носом, обнаружить пытаюсь какую-то дверь – а если нет ее, этой самой двери? Вот скажи – ты знаешь, как будешь жить через десять, пятнадцать, двадцать лет? Ты вообще знаешь, зачем живешь?

– Еще бы не знать! – она, по привычке, уводит агатовые глаза к потолку. – Получим дипломы, поженимся, работу найдем тебе и мне поприличнее, ребеночка со временем родим, а то и двух, наслаждаться будем тем, что живем – молодые и красивые... Вся жизнь у нас в кармане – неужели не представляешь ты, что такое жизнь!? А состояние твое я очень даже понимаю – у самой тысячу раз бывало! Это пройдет, пройдет обязательно, и будет все у нас – лучше всех! Ты, Юл, успокойся, плюнь, забудь! Поцелуй меня, обними аккуратно – и вали отсюда, мне чертить не перечерчивать!

Она подставляет знакомые губы – гладкая, ускользающая, тугая, как хищник выдра. Бывают миги, когда Юлу хочется съесть эти губы – но теперь они пахнут резиной.

* * *

– Люди-и-и-и! Убива-а-ают! Карау-у-ул! – она всегда так кричит, на первом этаже живущая Бондаренко – осторожно, негромко и сдержанно, не надеясь ничуть, что крик ее образумит мужа.

Тот, промасленный и огромный, детской души и свирепого нрава человек, терпит хрупкую, въедливую супругу-медсестру месяцами, гнется, пока не иссякнет всякий лимит – а там, проглотив для храбрости литр водки, восстанавливает утраченную справедливость, зная наперед, что завтра пластаться будет перед женой виноватым гадом.

Но это – завтра, а сейчас, таская бабу за долги косы, покрывая нелепые ее выкрики яростно-матерным ревом, пьет машинист Бондаренко недолгое счастье.

Бормоча смешное это, в старых фильмах подслушанное «караул», Юл поднимается к себе. Дымного запаха почти не слышать и та, в бежевой комнате, спит, тихонько похрапывая. Юл захлопывает балконную дверь и укрывает ее еще одним одеялом – пусть спит по возможности дольше.

...На этикетке – красавица южная в сногшибательной шляпе.

Человек, какого Юл называл другом, уехал, оставив адрес, к маме своей, в Ташкент – Юл простить себе не мог, что листок этот затерялся в ящиках стола и выброшен был позднее вместе с мусором.

Уж лучше бы голову вышвырнуть в мусоропровод – только теперь начинает понимать Юл, что за редкость это: когда другому существу человеческому веришь не меньше, чем себе.

Он, друг, прощаясь, отворачивал узкое лицо: Юл отказывался верить, что один из отчаяннейших хулиганов Западного, твердо решивший жизнь дальнейшую связать с криминалом, может ТАК это воспринимать – сам Юл выдавливать слезы давно не умел.

Тогда они пили такое же точно вино. Топорщилась молочная грудь сеньориты, голуби, переваливаясь на голых мясных лапах, клевали с перрона всякую дрянь – им, голубям, было самым основательным образом наплевать. Да и Юл не видел особой трагедии – но как же не хватает друга сейчас!

Так это всегда случается: все стоящее, что бывает в жизни, выбрасываешь, не задумываясь, в мусорное ведро – и льешь потом крокодильи слезы! Только без толку это – лить, и одно остается: греться у слабющего неумолимо костра воспоминаний. Да надолго ли хватит его, костра?

Человек, какого он называл другом, не стал бы переспрашивать десять раз – а теперь Юл, поглядывая на зеленый огонь, яблочную пьет муть, сыплет из скрытой бутылочки – в поисках изумрудной ваты. Тот, друг, не стал бы спрашивать – в душах друг друга ориентирясь с закрытыми глазами, вполне можно обходиться без слов. Сейчас же – почему должен Юл безоговорочно верить той же Сашке?

Глупо думать, что дядя из штата Нью-Йорк, торгующий подержанными автомобилями, приглашавший Юла не единожды к себе, не принимается устремленной Сашкой в расчет – еще как принимается!

Так, положим, и должно быть – но врать-то зачем? Зачем вот это – «будь хорошим мальчиком, Юл»? Он и сам в состоянии разобраться, каким ему быть. Сам он в состоянии решить: оставаться ему сегодня дома или фонари считать в городских лабиринтах. И Сашка, будь она в тысячу раз лучше Юла – никакой ему не указ: она ведь лучше прочих знает, знает и сомневается, Сашка!

Сеньорита опустошенная катится под диван, в мягкую пыль, в мрак и запустение катится сеньорита. Стрелки тусклого циферблата сообщают – три часа до времени ноль. Чуть-чуть толкни его в бок – просыпается близкий самый, зубастый и знающий объект обороны: такой Юл не шьется в каменный мешок, не тычется слепо в стены.

Дождь – последний ноябрьский – сыплет из кармана рваного небо, девушка в кругло-суточном – под глазом левым у нее гематома, или, говоря проще, фонарь – смотрит купюру на свет, тянет устало из ящика водку.

Юл на другую переходит сторону, сворачивает в полутемный скверик – здесь, на обескрашенных скамьях, в худшую из погод кто-то да есть – из тех, что глазами жадными ведут всякого, кто заветный лелеет пузырь.

Юл идет, всматриваясь в утеранные лица, в глазах бывших выискивая след человека. Здесь, «на сквере», любая из бывших женщин – теперь их нельзя назвать так – сделает все, что ты захочешь – если в состоянии только будешь захотеть.

Ему случалось приходить сюда и раньше. Выбрав кого-то с остатками лица, он угощал его водкой, слушая обычный в таких случаях жалобный треп – странно и хорошо было видеть, что несчастный водочный пузырь может родить столько благодарности. Он и сам не знал, зачем ему нужно это – а теперь стоял у дальней скамьи, вглядываясь недоуменно и пристально в лицо очкастой и худенькой, в длинном пальто девушки.

* * *

– Лен, ты, что ли? – говорит, наконец, он.

– Ага, – соглашается тускло девушка. – Есть сигарета? Сто лет тебя не видела.

Девушку эту Юл помнит замечательно – с тех еще, до болезни, времен, когда сам он появлялся на всех без исключения дискотеках. Тогда же начала приезжать откуда-то из Центра и она – лишенная начисто груди, веснушчатая и кривая, глядящая независимо сквозь дешевенькие очки. Девочка эта, помнится Юлу, невероятно была начитанной, он любил побеседовать с ней о книгах. Другие же, выявив мгновенно еще одно нужное качество, тащили эту самую Лену в парк и там, особо не церемонясь, любили под вековыми соснами, случалось, что и по очереди.

Неестественное сочетание это – страсти к настоящей литературе и бля... ого совершенно поведения – долгое время не давало Юлу покоя, и они с Сашкой часто гадали, в чем тут причина.

А Лена приезжая, успевшая дать всем, не исключая, верно, сопливых самых пацанов, поглядывала все так же отстраненно сквозь пару круглых стекол и жизнью явно была довольна – невзирая на то, что девчонки местные не раз и не два грозились выцарапать ей глаза – и угрозу эту пытались периодически претворить в действительность.

Да что ей угрозы! И девочка, возвращенная на лучших образцах мировой классики, поглядывала, как прежде, на глупых этих сосок с высоты обретенного знания – и несломляемость эта Юлу была по душе. После было не до нее, потерялась любовью обильная Лена, чтобы найтись – здесь, где быть ей никак не положено.

Юл, присев, тащит из кармана кожаного водку.

– Будешь?

– Давай, только пошли под крышу, в подъезд какой-нибудь – я и так вся мокрая! – встав, она оказывается на голову ниже. – Тут про тебя чего только не болтали!

Они идут неровным тротуаром. Юл сердится.

– Болтали... Мало ли чего болтают! У меня – все в порядке. В полном порядке! А ты как здесь, с этими оказалась?

Глотнув, сморщив невероятно веснушчатое личико – в подъезде холодно и шумно, ящики почтовые раскиданы на полу – она становится разговорчивей.

– Представляешь, дрянь какая? – она называет одного из знакомых Юла. – На каждую сучку лезет, подцепил где-то трепак, а теперь, оказывается, я во всем виновата! Прикинь! Я два месяца, ни с кем, кроме него, не лазила – как можно быть таким уродом! Сегодня настучал мне по роже, выбросил из ДК, еще раз, говорит, здесь увижу – вообще изуродую! А твари эти смеются – хоть бы один заступился! Теперь вот сижу и на остановку даже боюсь идти – мало ли что они могут сделать!

Злая готовность Юла, та, что всегда под рукой – уходит глубже. Ему, Юлу, совсем не хочется воевать, и причиной тому – девочка невидная, в бежевом пальто.

– Это ерунда! – говорит он. – Ты-то ведь точно знаешь – что не от тебя? Ну и черт с ним – мало пацанов, что ли, в городе? Да и вообще – дался тебе этот Западный! В Центре, что ли, дискотек не хватает?

– А пошли они все – достали! – Заметно повеселевшая, она машет цыплячьей ручкой, тянет из скользкого горлышка.

С ней легко разговаривать – не нужно подбирать слова. Можно бы и о курсовой – да не сейчас только, когда у нее и своих проблем – выше крыши. Вспомнив кое-что, Юл тихонько смеется.

– Ты чего?

– Да так... Знаешь, я когда совсем еще пацаненком был, придумал одну штуку, и название такое учудил – Теория Полной Откровенности. Ты не смейся только – честное слово, не вру! В детстве обман очень остро чувствуешь. Вот слышишь, бывает, как взрослые между собой разговаривают, не понимаешь совсем, о чем разговоры эти, а все равно определяешь безошибочно: вот это – правда, а здесь – самая настоящая ложь. Не знаю, откуда бралось это, но и сейчас уверен – что не мог тогда ошибаться.

Так вот, мне казалось тогда, что все проблемы и трудности как раз и происходят оттого, что люди с бесконечным каким-то упорством пытаются скрыть друг от друга правду. Пытаются и не понимают, что делают только хуже – другим и себе! Тогда и появилась она – Теория Полной Откровенности.

По этой теории, всего и был какой-то пустяк нужен: собрать всех людей на Земле в одном месте и убедить их в том, что говорить нужно одну лишь правду – какой бы она не была. Тут главное, чтобы все – все как один приняли это безоговорочно, увидели, как глупо это – себя и других запутывать в вязкой паутине! А там, до полного счастья – один шаг! Такие мы в детстве: спасти рвемся мир, а сейчас – и себя-то, как следует, не умеем!

– В детстве все острее чувствуешь, – соглашается она. – Если радуешься, так уж действительно радуешься, а обижаешься – так на весь мир! Заберешься подальше куда-нибудь, спрячешься, чтобы не мешали – и реवेशь себе в полное удовольствие! И обман сразу угадываешь, оттого, наверное, что сам как следует врать еще не научился. А теперь – совсем не так, теперь этого нет. Привыкаешь ко всему, что ли...

Бежит-утекает время, завершается двенадцатый день ноября и дождь – последний в году – не трется спиной о мокрый асфальт.

Веснушчатая, ненасытная позабыла уже недавнюю обиду – и косится на Юла раздетыми глазами. Хорошая, понимающая, умная – но сука природная, неисправимая сучонка, и быть ей в постоянных клиентах кожвендиспансера, думает Юл.

– Пошли, Лена, я провожу тебя до автобуса, – говорит, руку протягивая, он.

* * *

Разумеется, делать этого не следовало – как раз поэтому, может быть, он и прыгнул в автобус, за мгновение перед тем, как лязгнули разболтанные двери и водитель стал выворачивать на проезжую часть.

Так повелось со времен отцов: Западный смертельно враждовал с Центром и появление там Юла, да еще в вечернее время, да еще с их девушкой можно было расценивать как самоубийство. И знакомые, что покуривали в стеклянном павильоне остановки и с Юлом поздоровались хмуро (видели, с кем пришел) – понимали ситуацию не хуже его самого.

Сквозь заднее стекло он видел, как заматались темные фигуры, закричали, засвистели, замахали в злом азарте руками, после швырнул кто-то камень – стекло, мгновенно, сверху донизу покрывшись мельчайшими трещинками, посыпалось в салон. Водитель, не глуша мотор, выскочил на подножку и матерился яростно и бессильно – его не слушали.

– Юл, вылазь к чертовой матери! Тебе голову там оторвут! – знакомые волновались. – На хрена тебе эта сука сдалась! Не будь придурком – вылазь, Юл!

Юл, подойдя – из черной, с краями неровными дыры тянуло нешуточно холодом – аккуратно выдавливал осколки наружу, в ответ на выкрики их улыбнулся и мотнул отрицательно головой.

Псих! Натуральный псих! – слышал он. – Опять, наверно, на иглу подсел.

Знакомые, матерясь, потянулись к стеклянному кубу. Водитель, не переставая гундосить, рванул из Богом проклятых этих окраин; сядя кондукторша, ненавистно глядя, сунула билеты и сдачу.

Он и сам не знал, зачем нужно это: трястись в разбитом, продуваемом насквозь автобусе, провожать чужую, постороннюю девушку, живущую там, где ему и днем-то ходить небезопасно – но объяснению не подлежащее чувство, заставившее его вскочить на подножку, поющее изумрудно и легко – убеждало в окончательной и полной неуязвимости.

Теперь, конечно, эта дуреха в явно великоватом ей пальто восторженно пялила на него близорукие глаза, в уверенности нерушимой, что Юл геройствует исключительно ради нее. Не хотелось обманывать ее и, Юл, смущаясь, сказал:

– Ты не подумай, Лен, что я с какими-нибудь намерениями... – и сам удивился, как глупо

прозвучало это.

– А я и не думаю, – сказала просто она, и дальше они молчали, держась за руки, и думали, каждый о своем.

Автобус долго тащил ревматическое свое тело городскими улицами, полз натужно на длины непомерной мост через железнодорожные пути – и вытянул, наконец, на тысячью огней освещенный Проспект. Теперь она впервые забеспокоилась.

– Ты вот что... Ты не выходи со мной – езжай прямо до Вокзала, а там пересядешь. Мне от остановки два шага всего – я за «Березкой» сразу живу. Так что спасибо, и давай до Вокзала – договорились?

– Не договорились, – круглосуточная «Березка» была тем как раз местом, где дежурили они в любое, темное, в особенности, время суток: охота на одиноких, гуляющих на ночь глядя мужиков, летящих безумно на зеленые огни магазина и в себя приходящих где-нибудь в проходном дворе, с выпотрошенными карманами и разбитой головой – считалась делом прибыльным и безопасным.

Теперь же все было не так и Юла нисколько не касалось. Греющий в себе заведомую неуязвимость, он вел Лену мимо знакомой витрины, подогретой бледно-малахитовым светом – кожей, всей требухой своей ощущая изумление их, замешательство, нежелание собственным верить глазам.

На этот – пусть и преходящий – шок он и рассчитывал, и потому не удивился даже, когда они расступились, давая ему с Леной пройти. Растерянную и напряженную хватая тишину, на привязи держа рвущиеся бежать ноги, вел он ее через неприятельский этот подиум, кусок асфальта в десять зеленых метров.

И двумя минутами позже, выйдя из ее подъезда и обнаружив, что человек восемь-девять, пряча сигареты в вазелиновых кулаках, движутся, охватывая полукругом двор, в его сторону – он вполне был готов к этому. И, тело свое ощущая до кончиков пальцев, как послушную, к действию готовую боевую пружину – Юл ожидал, пока они приступят вплотную.

Таковыми уж были они, эти недоумки – не имели ни малейшего понятия, как следует двигаться и бить, жрали протеин, накачивали в подвалах приличные мускулы – и не могли понять, как удастся Юлу укладывать их в быстрые секунды, не могли уразуметь никак, что год бокса дал бы им куда больше, чем три года самопального этого культуризма.

Он ждал, пока все они не сгрудились перед ним в кучу, ждал, пока самый нетерпеливый, растолкав остальных, не выпрыгнул, занеся кулак, подвывая в восторге близкой расправы – а там, не давая себе труда даже ударить его, отступил мягко в сторону – враг сунул медленной рукой в пустоту – и рванул что есть силы через двор.

Драться было нельзя – в темноте трудно бить наверняка, да и слишком много их было – здоровых, крепких, кровь близкую чуявших пацанов. Щадить его не собирались – он и не ждал этого.

Вынырнув на Победу – к Вокзалу напрямик ведущую улицу – он кинул, не останавливаясь, глазами назад. Двое держались метрах в десяти-пятнадцати от него, остальные отстали, вытягиваясь неровной цепью.

Быстрее, быстрее и дальше – аптека, исполком, магазин модной одежды – он выбегал уже к Привокзальной и видел, как подъехавший только что, с подсвеченными двумя единицами, автобус выпускает необильных пассажиров – положительно, сегодня был его, Юла, день!

Просто обязан был Юл успеть – только что тронулся желтый вагон, когда он, подбежав, заколотил во влажный бок кулаками. Задняя дверь разъехалась, он прыгнул, зацепив поручень, внутрь – и слышал, как кто-то, тянущий запаленно воздух, схвативший и выпустивший его куртку – вскочил за ним. Защелкнулись тут же двери, автобус, дрожа всем своим корпусом, набрал ход.

Так стояли какое-то время оба: салон совершенно был пуст, и кондукторша, выставив широкую, обтянутую туго синей форменной болоньей спину, болтала, размахивая руками, с водителем – развернувшийся мгновенно Юл и за ним вскочивший парень.

В азарте он, парень, и не заметил, верно, что далеко опередил остальных – или, может быть, полагал, что сумеет вытащить Юла из автобуса. Так или иначе, парень этот – стриженный ежиком, тугощекий, с зелеными, в золотых ободках, глазами, с розовой, очень крепкой на вид шеей – самым серьезным образом растерялся.

Ну конечно, как же еще: он ведь из тех был, что не ходят никогда в одиночку, что дерутся только толпой, он и мысли свои примитивные увязать в цепь самостоятельно не способен – Юл накручивал, разжигал в себе злость, разглядывал жестко в упор гладкокожего, с нерастерянным чем-то детским в лице, парня – ровесника своего, или чуть постарше.

Растерялся, сука – а пять минут назад он или точно такой же расталкивал, поскуливая от предвкушения и восторга, товарищей и, оказавшись Юл менее проворным – молотил бы его сейчас ногами по чему ни попадя!

А теперь растерялся – стоит, покачиваясь, у двери, поручень прячет в красный, вазелином накачанный кулак. Знает, верно, кто такой Юл, соображать, видно, пытается – как

это с достоинством отступить, раз уж сунуться угораздило в проклятый этот одиннадцатый номер!

Такие вот – в исползанный год – стеклянного, слепого пинали Юла, на ребрах выстукивали барабанную дробь – уверенные, что он и помнить не будет на завтрашний день. Помнит. И этого – бьется-плещется тревога в крыжовенных глазах – будьте уверены, не выпустит!

Кондукторша гладкоспинная продолжала трепаться – да и чем могла бы она помешать, кондукторша? Пацан и не сказал ничего – стать пробовал в жалкое подобие стойки – и рухнул, провалился вниз, ударенный сперва правой, а потом левой, безжалостной и безотказной Юловой рукой.

Побежала изо рта и носа черно-вишневая кровь, он сплюнул в грязную ладонь, и там, в вязком кровавом сгустке – увидел Юл раскошенный зуб. Глянув на руку себе, он видел, что с костяшки мизинца содрана кожа и ранка подплывает уже ярко-красным.

Будет, сука, помнить! Но жалость, какую он ненавидел и носил в себе с детства – схватила цепко за горло и держала горячими пальцами. Переступив, он пошел и сел в середине салона, а когда обернулся, остановки две или три спустя – враг недавний уже исчез.

Позже, выходя, он видел подсохшую, растертую ногами кровь – а первый, самый острый приступ жалости уже миновал, не было ее – жалости.

Дождь – был. Последний дождь последнего года.

* * *

Он и не ждал, и испугался даже – когда маленькая и смуглая, яростная, как хищник выдра, бросилась она из желтого сумрака, из слабенького этого, обман зрения рожающего света, съеденного не мытым тысячу лет, засиженным и пыльным плафоном.

Ярость эта, доставшаяся непонятно как дочери тишайших, образованных и в высшей степени незаметных врачей-евреев – ярость всесжигающая и иступленная, никаких компромиссов не желающая знать ярость поначалу даже ошарашила Юла.

Да и не ждал он, что, вместо того, чтобы корпеть, как и полагается, над чертежами, Сашка решит позвонить ему перед сном, то ли проверяя, то ли с намерением простым пожелать спокойной, по возможности, ночи – позвонить, чтобы не застать, разумеется, дома, а после накручивать каждые пять минут ненавистный этот номер, и бросить, наконец, всякие чертежи, и бродить в безмаршрутных поисках, и ждать за темным стеклом, ощущая, как с канувшей каждой секундой прибывают, спасительные и ждущие разрядки обида и злость.

Скорее злость, чем обида – потому что за тот, исползанный Юлом год она имела возможность убедиться в бесполезности всяких, самых даже что ни на есть заслуженных обид – и, напротив, признать злость, или, если быть точным, ярость куда более действенным средством.

Да и усилий никаких для возникновения ее не требовалось – нужно было просто сидеть и ждать, провожая минуты по наручным, с будильник размером, часам. Она и ждала, и бросилась, завидев едва влажные от дождя его волосы – сверху ей хорошо видна была белая, просвечивающая на макушке кожа – с таким бросилась азартом, что Юл не сразу удержать смог, да и не просто было это – удержать: ртутно-живую, ускользающую, неуловимую, кусать и грызть готовую еврейскую дочь.

И все же удалось ему, наконец, спеленать ее, нейтрализовать тугие и смуглые, с коготками фиолетовыми руки и так, прижав к себе выгибающееся тело, ждать, пока не схлынет яростный этот заряд.

Минутой позже Юл отпустил – в ожидании словесной уже атаки – но она, дыша сдавленно и тяжело, исхлестав его теменью жесткой глаз, застучала по лестнице вниз, ни единого не высказав слова, не дав ему попытки самой малой оправдаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.